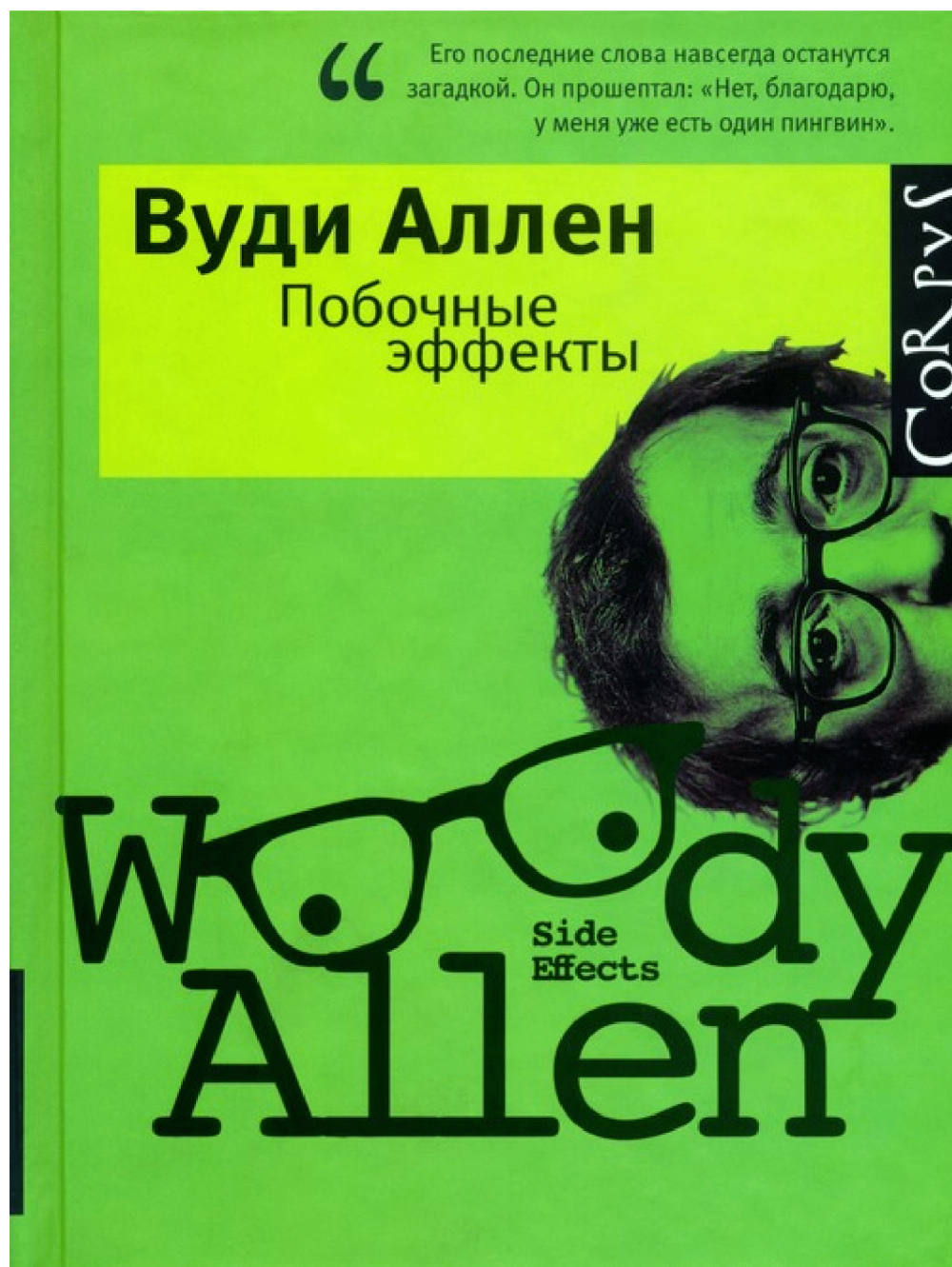


Вуди Аллен Побочные эффекты



: UTC; OCR&SpellCheck: golma1 <http://maxima-library.org>
«Побочные эффекты»: Corpus, Астрель; Москва; 2013
ISBN 978-5-17-077719-8

Аннотация

Вуди Аллен — легендарный американский кинорежиссер, писатель, сценарист и продюсер, награжденный четырьмя статуэтками «Оскар», «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля, «Пальмовой ветвью пальмовых ветвей» Каннского и другими почетными премиями. В 2005 году профессионалы, работающие в жанре комедии, присудили Аллену третье место среди лучших комиков всех времен. Писать юмористические пьесы и рассказы Аллен начал еще подростком. В одном интервью он признался: «Я всегда говорю, что я стал писать раньше, чем научился читать». В

семнадцать он уже сотрудничает с популярными журналами «Нью-Йоркер», «Плейбой», «Эвергрин», сочиняет скетчи, выступает как актер-комик в ночных клубах, пишет пьесы для бродвейских театров.

Классик мирового кино, Аллен продолжает публиковать свои рассказы в лучшем литературном журнале Америки «Нью-Йоркер». Смешные, полные иронии и сарказма, пародий и гротеска, они вышли отдельными книгами: «Сводя счеты», «Побочные эффекты» и «Без перьев». Один из рассказов, «Образ Сиднея Кугельмаса...», отмечен престижной премией «О’Генри».

Рассказы «Обделенные судьбой» и «Огромный шаг для всего человечества» — в переводе Л. Ю. Мотылева; остальные — в переводе О. В. Дормана.

Вуди Аллен Побочные эффекты

Памяти Нудельмана



Прошел уже месяц, а я все не могу поверить, что Сола Нудельмана больше нет. Я был на похоронах и на поминках, принес пастилы по просьбе его сына... Но боль утраты мешала осознать масштабы потери.

Нудельман все время размышлял о своих будущих похоронах и однажды признался: «Знаешь, по мне, конечно, лучше кремация, чем погребение, не говорю уж, чем выходные с миссис Нудельман». Так он и решил: велел себя кремировать, а прах завещал Гейдельбергскому университету, который развеял его по ветру и получил обратно залог за урну.

Как живой стоит он у меня перед глазами. Мятый костюм, серый свитер. Вечно погруженный в размышления, Нудельман частенько надевал пиджак вместе с вешалкой. Как-то раз на церемонии в Принстоне я заговорил с ним об этом. Нудельман улыбнулся: «Что ж, пусть те, кому не по душе мои мысли, считают, что у меня, по крайней мере, широкие плечи». Два дня спустя он встречался со Стравинским и посреди беседы внезапно совершил кувырок через голову. Его ненадолго госпитализировали.

Вообще, понять Нудельмана было нелегко. Его замкнутость часто принимали за равнодушие. Между тем мало кто был так способен к состраданию. Однажды он увидел по телевизору репортаж о чудовищной катастрофе на угольной шахте и не смог закончить вторую порцию мороженого. Кого-то отталкивала молчаливость Нудельмана, а он просто считал речь слишком несовершенным средством общения и предпочитал вести даже самые задушевные разговоры при помощи сигнальных флажков.

Когда из-за разногласий с руководством Нудельмана уволили из Колумбийского университета, он взял выбивалку для ковров, дождался ректора (им был тогда Дуайт Эйзенхауэр) и выбивал до тех пор, пока прославленный генерал не спрятался в магазине игрушек. (Причиной их жестокой публичной ссоры был звонок: один утверждал, что звонок означает конец пары, а другой — что начало.)

Нудельман мечтал о легкой смерти. «Среди своих книг и рукописей, — говорил он. — Как Йохан». (Брат Нудельмана задохнулся под крышкой секретера, пытаясь отыскать словарь рифм.)

Кто мог предположить, что однажды в обеденный перерыв Нудельман остановится посмотреть, как сносят дом, и получит по голове чугунным шаром бульдозера? Удар вызвал сильный шок, и с широкой улыбкой на устах Нудельман скончался. Его последние слова навсегда останутся загадкой. Он прошептал: «Нет, благодарю, у меня уже есть один

пингвин».

В последние месяцы Нудельман работал, как обычно, сразу над несколькими вещами. Во-первых, разрабатывал новую этику. В ее основе лежала идея о том, что «добро и справедливость являются безусловными добродетелями, которые можно творить и по телефону». Во-вторых, довел до середины большой труд по семантике, в котором доказывает, что структура предложения имманентна, а воля — благоприобретена (он всегда настаивал на этом). И наконец, еще одна книга о Холокосте. На этот раз с раскрасками. Нудельман неотступно размышлял о природе зла и убедительно доказывал, что источником подлинного зла могут быть только люди по имени Блэки или Пит. Заигрывания самого Нудельмана с национал-социализмом вызвали скандал в академических кругах, несмотря на то что ни специальная гимнастика, ни уроки танца так и не помогли ему освоить гусиный шаг.

Увлечение нацизмом было для Нудельмана всего лишь реакцией на классическую философию — что он и сам не раз пытался объяснить друзьям, а потом неожиданно хватал за нос и восклицал с чуть наигранным восторгом: «Опля, вот и попался!» Прежде чем критиковать его отношение к Гитлеру, следовало бы вникнуть в собственную философию Нудельмана. Он с самого начала отвергал современную онтологию и утверждал, что человек существовал еще до вечности, пускай и с небогатыми возможностями. Он различал бытие и Бытие и считал, что одно из них предпочтительнее, но никогда не мог вспомнить которое. Он полагал, что свобода человека заключается в понимании абсурдности жизни. «Бог молчит, — любил повторять Нудельман. — Как бы еще человека заставить заткнуться».

Подлинное Бытие, утверждал Нудельман, достижимо только по выходным, даже если для этого понадобится взять машину напрокат. Человек, по его мнению, находится не вне, но внутри природы, и единственная возможность постичь свое бытие извне — это притвориться, что тебе все равно, а потом неожиданно перебежать в другой конец комнаты, попытавшись хоть краешком глаза увидеть самого себя.

Применительно к жизни Нудельман использовал выражение *Angst Zeit*, что можно не вполне точно перевести как «время тревог». Человек, полагал он, есть существо, приговоренное жить «во времени», — где, впрочем, ничего не происходит. После долгих размышлений с присущей ему интеллектуальной честностью философ был вынужден признать, что его не существует, не существует также его друзей, и единственное, что существует в действительности, — это банковский долг Нудельмана в шесть миллионов марок. Так стоит ли удивляться, что национал-социализм с его культом силы очаровал мыслителя, или, по собственному определению, «я заметил, что мне к лицу коричневые рубашки»? Впрочем, когда стало ясно, чем грозит национал-социализм самому Нудельману, он покинул Берлин. Замаскировавшись под куст боярышника, передвигаясь короткими перебежками, он сумел незамеченным пересечь границу.

По всей Европе, где бы ни оказался Нудельман, студенты и интеллектуалы почитали за честь помочь прославленному мыслителю. Чувствуя за спиной жаркое дыхание погони, он все же успел выпустить в свет «Время, смысл и действительность: новый взгляд на проблему небытия» с прелестным приложением «Где перекусить, находясь в бегах». Прочитав этот труд, Хаим Вейцман¹ и Мартин Бубер² организовали сбор подписей за разрешение Нудельману эмигрировать в США. К сожалению, в нью-йоркском отеле, который он выбрал, не оказалось свободных мест. Однако гестаповцы могли с минуты на минуту нагрянуть в его пражское убежище, и Нудельман все-таки решил лететь. При регистрации багажа

¹ Хаим Вейцман (1874–1952) — первый президент Израиля с 1948 г., один из лидеров сионистского движения, целью которого было возвращение евреев на землю Израиля и воссоздание еврейского государства.

² Мартин (Мардохай) Бубер (1878–1965) — еврейский религиозный философ и писатель, крупнейший деятель сионистского движения.

обнаружился перевес. Альберт Эйнштейн, улетающий тем же рейсом, убедил Нудельмана, что если вынуть из ботинок распорки, то можно будет все остальное взять с собой. С тех пор они регулярно переписывались. Однажды Эйнштейн написал Нудельману: «В сущности, мы с вами занимаемся одним и тем же, хотя я до сих пор и не очень понимаю, что вы делаете».

Поселившись в Америке, Нудельман почти постоянно находился в центре общественных дискуссий. Именно в эти годы он опубликовал знаменитое «Небытие: что делать, если это случилось с вами» и классический труд по лингвистической философии «Семантические модели функционирования пустоты», по которому снят фильм «Улетевшие ночью» (он сделал тогда огромные сборы).

За симпатии к коммунистам Нудельмана, вполне в духе времени, вынудили покинуть Гарвард. Он чувствовал, что подлинная свобода возможна только при отсутствии экономического неравенства, и приводил в пример муравейник. Он мог часами смотреть на муравьев и задумчиво бормотал: «Вот кто на верном пути. Будь их самки посимпатичнее — у них бы все получилось». Любопытно, что, когда Нудельмана вызвали в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, он назвал немало имен. Другим и коллегам он объяснил свое поведение так: «Я не раз утверждал, что политические акции не имеют моральных последствий, так как осуществляются вне подлинной реальности». После чего научное сообщество утратило дар речи. Лишь через две недели Принстонский университет опомнился, и на Нудельмана обрушились ушаты грязи. Между прочим, позднее в беседе с двумя студентками Нудельман выдвинул тот же самый аргумент в пользу теории свободной любви. Однако студентки не купились, а младшая, которой было шестнадцать, пожаловалась в деканат.

Нудельман неумоимо боролся за прекращение ядерных испытаний и однажды лично прилетел в Лос-Аламос, чтобы вместе с группой студентов пикетировать предполагаемое место взрыва. Минута приближалась, и, когда стало ясно, что испытание не отменят, Нудельман, по свидетельствам очевидцев, пробормотал «ой-ой-ой» и бросился бежать. О чем газеты умолчали: в тот день он ничего не ел.

Все помнят Нудельмана в обществе, на публике. Блистательный, неизменно приветливый джентльмен, автор знаменитых «Стилей моды». Но был и другой Нудельман, которого я до конца моих дней буду вспоминать с особой теплотой, — старина Сол в неперменной шляпе. Он был страстным любителем шляп. Его ведь и кремировали со шляпой на голове. Первый случай в истории, полагаю. А как он любил Диснея! Несмотря на великолепное разъяснение природы мультипликации, которое дал Макс Планк, Нудельман никогда не оставлял надежды познакомиться с женой Микки-Мауса.

Я знал, что он предпочитает особый сорт тунца. Всякий раз, когда Нудельман гостил у меня, я до отказа набивал холодильник его любимыми консервами. Сол был очень застенчив и никогда прямо не признавался в любви к тунцу, но однажды я был свидетелем, как он, уверенный, что его никто не видит, открыл все баночки и задумчиво произнес: «Все вы мои дети».

Как-то раз, будучи в Милане, мы с Нудельманом и моей дочерью отправились в оперу. Нудельман неосторожно высунулся из ложи и упал в оркестровую яму. Он был слишком горд, чтобы признаться, что оплошал, и потом месяц каждый вечер ходил в оперу и падал из ложи в оркестр. Когда появились признаки сотрясения мозга, я высказал осторожное предположение, что, пожалуй, можно бы остановиться, ведь он уже доказал, что хотел. Нудельман ответил: «Ну, еще хотя бы разок. Мне ведь, в сущности, нравится».

Вспоминаю его семидесятилетие. Жена подарила юбиляру пижаму. Было понятно, что он огорчен: он рассчитывал на новый «мерседес». Однако — и в этом ясно виден весь человек — Нудельман лишь ненадолго ушел в кабинет, чтобы взять себя в руки. Он вернулся к гостям с улыбкой на лице и в новой пижаме. Так он и пошел на премьеру двух новых

Приговоренный



Бриссо спал на спине. Сумрачная громада живота, застывшая на губах улыбка — в лунном свете казалось, это не человек, а что-то неодушевленное — вроде футбольного мяча или двух билетов в оперу. А через мгновение, когда Бриссо повернулся и тени легли иначе, он стал точь-в-точь похож на сервиз столового серебра из двадцати семи предметов, включая супницу и салатник.

«Он спит и видит сны, — думал Клоке, глядя на спящего и сжимая в руке пистолет. — Он видит сны, а я существую в действительности».

Клоке ненавидел действительность, но сознавал, что больше нигде рассчитывать на хорошую отбивную.

Никогда прежде ему не приходилось убивать человека. Был случай — он пристрелил бешеного пса, но сначала получил заключение от консилиума психиатров, что животное безумно. (Пес попытался откусить Клоке нос и стал безостановочно смеяться. Диагностировали маниакально-депрессивный психоз.)

Спящему снилось, что солнечным утром он бежит по пляжу навстречу мамочке, она плачет и протягивает руки, радость переполняет Бриссо, но когда он пытается обнять седую женщину, она превращается в двойную порцию ванильного мороженого.

Бриссо застонал, и Клоке опустил пистолет. Два часа назад он проник сюда через окно и с тех пор стоял над спящим, не в силах нажать на спусковой крючок. Один раз он уже было взвёл курок и вставил дуло в правое ухо Бриссо. Но тут послышались шаги, и Клоке отпрянул в тень между бюро и комодом.

Вошла мадам Бриссо в цветастом халате. Она зажгла ночник и заметила пистолет, торчащий из уха супруга. Вздохнув по-матерински, мадам Бриссо осторожно вынула пистолет и положила под подушку. Потом поправила сбившееся одеяло, потушила ночник и ушла.

Клоке очнулся через час. Пока к нему возвращалось сознание, он вдруг вообразил себя ребенком на песках Ривьеры. Однако прошло еще четверть часа, Клоке не встретил ни единого пляжника и понял, что по-прежнему прячется за комодом у Бриссо. Он вернулся к кровати, вытащил из-под подушки пистолет, направил в голову спящему, но так и не смог выстрелить и навек оборвать бесславную жизнь фашистского осведомителя.

Гастон Бриссо вырос в состоятельной буржуазной семье и с детских лет мечтал стать стукачом. В юности он брал уроки у логопеда, чтобы донесения звучали более четко. Однажды он сам признался Клоке: «Ах, боже мой, если бы ты знал, до чего я люблю закладывать людей!»

«Но почему?» — спросил тогда Клоке.

«Сам не понимаю. Сдавать их фрицам, строчить доносы...»

Бриссо предавал товарищей просто ради удовольствия. Какая дьявольская, какая непростительная низость! Клоке вдруг вспомнил одного знакомого алжирца: тот любил хлопнуть человека по макушке, а потом говорил «это не я» и улыбался. Неужели все люди делятся на хороших и плохих? Хорошим лучше спится, подумал Клоке, зато плохие с большим удовольствием просыпаются по утрам.

Они с Бриссо познакомились давным-давно при весьма драматических

³ Фернандо Аррабаль (р. 1932) — французский писатель и драматург испанского происхождения.

обстоятельствах. Как-то раз, напившись в «Дё маго»,⁴ Бриссо забрел на набережную Сены. Здесь он решил, что уже дома, разделся и бухнулся в кровать, то есть упал в реку. Попытавшись натянуть одеяло на голову, он только зачерпнул ледяной воды и заплакал. Клоке, который как раз в эту минуту гнался за своим шиньоном по мосту Понт-Неф, услышал, что внизу кто-то плачет и зовет на помощь. Ночь была темной и ветреной, времени на размышления не оставалось. Рисковать или не рисковать жизнью ради незнакомца? Клоке не хотел принимать серьезного решения на пустой желудок, он поспешил в ресторан и хорошенько поужинал. Потом, мучимый угрызениями совести, бросился в рыболовный магазин, купил кое-какие снасти и помчался к реке, надеясь выудить Бриссо. Сначала попробовал на мотыля, но Бриссо был, конечно, не столь наивен. Тогда Клоке сообразил подманить его к берегу, обещая бесплатные уроки танца, а потом сетью вытащил из воды. Пока он обмерял и взвешивал улов, они подружились.

Клоке приблизился к спящей туше еще на шаг и снова поднял пистолет. Ему так ясно представилось, что случится дальше, что он почувствовал тошноту. Это была некая экзистенциальная тошнота, вызванная острым ощущением абсолютной непостижимости жизни. Обычный алка-зельцер был тут бессилён. Такую тошноту берет только экзистенциале в таблетках, который можно раздобыть в любой аптеке на Левом берегу. Эта штука размером с автомобильную крышку, будучи растворенной в воде, быстро снимает тошноту, вызванную чересчур глубоким пониманием вещей. Клоке обнаружил, что она к тому же хорошо помогает после мексиканской кухни.

Если я решаюсь убить Бриссо, рассуждал Клоке, то становлюсь убийцей. Один выстрел, и я превращаюсь в Клоке-убийцу и навсегда перестаю быть нынешним Клоке — преподавателем психологии домашней птицы в Сорбонне. Я принимаю решение — и в моем лице совершает выбор все человечество. Интересно, а если каждый человек на свете лично пришел бы сюда и выстрелил предателю в ухо? То-то был бы кошмар. Толкотня, грохот, дверной звонок трезвонит ночь напролет, припарковаться негде... О господи — как убог человеческий ум, когда обращается к морально-этическим проблемам! Лучше уж не задумываться. Больше полагаться на тело. Оно надежнее. Оно ходит на вечеринки, хорошо смотрится в спортивной куртке и совершенно незаменимо при массаже.

Внезапно Клоке захотел удостовериться в собственном существовании и посмотрел в зеркало над комодом. (Он никогда не мог спокойно пройти мимо своего отражения, и однажды так долго гляделся в плавательный бассейн, что дирекция была вынуждена спустить воду.) Не помогло. Он не мог выстрелить в человека. Он выронил пистолет и поспешил прочь.

Оказавшись на улице, Клоке решил зайти в «Ля куполь»⁵ пропустить стаканчик бренди. Он любил «Ля куполь»: светло,людно и всегда найдется свободный столик. Не то что дома. Дома было сумрачно, тоскливо, и мама, с которой они жили вместе, не давала ему присесть. Однако в ту ночь все места в кафе оказались заняты. «Кто эти мужчины и женщины?» — думал Клоке, вглядываясь в сидевших за столиками. Казалось, они хотят слиться в абстрактное «Люди». Но ведь на самом деле людей не существует, подумал он, есть только человек. Клоке отметил, что это превосходное соображение наверняка будет иметь успех на каком-нибудь званом обеде. За соображения вроде этого его с 1931 года никогда не приглашали в общество.

Тогда он решил навестить Жюльетту.

— Убил? — спросила Жюльетта, открыв дверь.

⁴ «Два бонзы» («Deux Magots») — знаменитое парижское кафе, у входа в которое стоят две деревянные фигуры китайских мудрецов. Здесь любили бывать Хемингуэй, Малларме, Сартр, Пикассо.

⁵ «Ля куполь» — знаменитое парижское кафе. Здесь пили и работали Ф. Скотт Фицджеральд, Э. Паунд, С. Беккет, Генри Миллер, Матисс и все, кто бывал в «Дё маго».

— Да, — ответил Клоке.

— Наповал?

— Судя по всему. Знаешь мою пародию на Шевалье?⁶ Обычно все падают со стула. Я перед уходом показал — он даже не улыбнулся.

— Прекрасно. Значит, он больше никогда не предаст партию.

Ну да, ведь Жюльетта — марксистка, подумал Клоке. Причем самого интересного толка: марксистка со стройными загорелыми ногами. Немного он встречал на свете женщин, способных совмещать в уме совершенно несовместимые идеи, а именно: что такое гегелевская диалектика и почему, если пощекотать языком ухо докладчика, у него становится голос, как у Джерри Льюиса.⁷ На Жюльетте была узкая юбка и облегающий свитерок, и Клоке захотел обладать ею — владеть этой женщиной, как владел разными другими вещами — радиоприемником там или маской поросенка, в которой он ходил во время оккупации, чтобы досадить фашистам.

Внезапно они занялись любовью. Или это был просто секс? Клоке соглашался, что между любовью и сексом есть разница, но считал, что и то и другое может быть восхитительно, если, конечно, один из партнеров не забудет снять нагрудничек, в котором едят омаров. Женщина, размышлял он, — это нечто нежное и окутывающее. Да и все бытие — нечто нежное и окутывающее. Иногда оно окутывает с головой. Тогда уже нет никакой возможности выбраться наружу, разве только по очень важному поводу — на мамин день рождения или по повестке в суд. Клоке не раз думал о том, что бытие и жизнь — совершенно разные явления, и не сомневался, что ему досталось наименее забавное из двух.

После любовных игр он, как всегда, прекрасно заснул, а наутро, к полному своему изумлению, был арестован по обвинению в убийстве Гастона Бриссо.

В полицейском участке Клоке клялся в своей невинности, но ему сообщили, что в квартире Бриссо и на брошенном пистолете найдены многочисленные отпечатки его пальцев. И конечно, зря он, когда влез в окно, оставил запись в книге гостей. Все ясно. Спорить бессмысленно. Ему крышка. Следствие завершилось, едва начавшись. Начался суд не суд, а сущий цирк, хотя и возникли трудности при доставке слонов в зал заседаний. Клоке признали виновным и приговорили к гильотине. Адвокат подал прошение о помиловании. Прощение отклонили из-за несоблюдения формальностей: стало известно, что адвокат подавал его, наклеив фальшивые усы.

Прошло полтора месяца. Вечером накануне казни Клоке сидел в одиночной камере и снова и снова пытался осознать случившееся. Но — безуспешно. Особенно эти слоны в зале суда... Завтра в это время он уже будет мертв. Клоке всегда думал, что смерть — это то, что бывает с другими. «Я заметил, это часто случается с толстяками», — сказал он своему адвокату. В приложении к нему самому смерть представлялась Клоке абстракцией. Люди смертны, рассуждал он, но смертен ли Клоке? Он никак не мог найти ответа. Однако несколько схематических рисунков, сделанных тюремщиком на штукатурке, все прояснили. Спасти себя нельзя. Скоро его больше не будет.

Меня не будет, с тоской думал он, а мадам Плотник, чье лицо напоминает что-то из меню рыбного ресторана, останется. Его охватила паника. Ему захотелось убежать и спрятаться, а лучше превратиться во что-нибудь твердое и долговечное — в массивный стул, например. У стула какие проблемы? — думал он. Стоит себе и стоит. Никто его не беспокоит. Ему не надо платить за квартиру и думать об инфляции. Стул никогда не стукнется большим пальцем об угол и не засунет невесть куда свои беруши. Он не обязан улыбаться и ходить в парикмахерскую, его можно взять на вечеринку, не опасаясь, что он раскашляется или устроит сцену. Стул существует просто для того, чтобы на нем сидели

⁶ *Морис Шевалье* (1888–1972) — легендарный французский шансонье и киноактер.

⁷ *Джерри Льюис* (р. 1926) — американский кинокомик, режиссер.

люди. Потом они умирают — и на стул садятся другие люди. Эти размышления успокоили Клоке, и, когда утром пришли брить ему шею, он прикинулся стулом. Его спросили, чего бы ему хотелось на свой последний завтрак, он ответил: «Зачем вы спрашиваете у мебели, что она хочет есть? Не лучше ли заново обить меня?» Все уставились на него, он обмяк и пробормотал: немного салата, больше ничего.

Клоке всю жизнь был атеистом, но, когда пришел священник отец Бернар, спросил у него, не самое ли теперь время обратиться. Отец Бернар покачал головой: «Боюсь, в это время года основные религии переполнены. Даже не знаю, что вам предложить. Попробую созвониться и подыскать что-нибудь в индуизме. Правда, понадобится фотография три на четыре».

Не стоит, подумал Клоке. Судьбу надо встречать в одиночку. Бога нет. Жизнь лишена смысла. Все проходит. Даже творения великого Шекспира исчезнут в миг, когда взорвется Вселенная. О «Тите Андронике», допустим, сильно жалеть не стоит — но как же все остальные пьесы? Ничего удивительного, что люди кончают с собой! Почему в самом деле не прекратить этот абсурд? Чего ради ломать голову над бессмысленной шарадой, именуемой жизнью? Что заставляет нас мучиться? Да ничего, кроме тихого голоса, который говорит где-то внутри: живи. Всякий раз мы слышим, как кто-то незримый велит: надо жить. Клоке узнал этот голос. Это был голос его страхового агента. Ясное дело, Фишбейну не улыбаются выплачивать страховку, подумал Клоке.

О, как бы ему хотелось сейчас оказаться на свободе! Просочиться сквозь стены тюрьмы и скакать по цветущему лугу! (Клоке всегда скакал, когда бывал счастлив. Собственно, это и спасло его от фронта.) Мысль о свободе одновременно окрылила и ужаснула Клоке. «Будь я свободен, я сумел бы раскрыться полностью. Может, стал бы чревовещателем, я ведь всегда об этом мечтал. А не то пошел бы в Лувр в одних плавках и маскарадных очках с большим носом».

Он представил себе, как много еще мог бы совершить, почувствовал дурноту и почти уже упал в обморок, когда дверь камеры открылась и охранник сообщил, что только что явился с повинной настоящий убийца Гастона Бриссо.

— Вы свободны, можете идти.

Клоке опустился на колени и поцеловал каменный пол. Потом он запел «Марсельезу». Потом заплакал. Затем пустился в пляс.

Через три дня его задержали в Лувре в плавках и маскарадных очках с большим носом и снова посадили в тюрьму.

Обделенные судьбой



Заметки для восьмистраничного романа — для большой книги, которой все так ждут.

Предыстория: Шотландия, 1823 год.

Арестован мужчина, укравший корочку хлеба. «Я только корочки люблю», — объясняет он, и в нем опознают вора, который терроризировал в последнее время несколько мясных харчевен, выкрадывая лишь крайние куски ростбифов. Преступника по имени Соломон Энтвисл отдают под суд, и суровый судья приговаривает его к каторжным работам с освобождением на пятом или десятом году (какой наступит раньше). Энтвисла сажают под замок, а ключ, предвосхищая прогрессивные веяния в тюремоведении, выбрасывают. Упорный Энтвисл берется — вопреки безнадежности — за отчаянно трудное дело: начинает рыть туннель свободы. Без усталости работая ложкой, он прокапывает ход под тюремными стенами, а потом — ложка за ложкой, пядь за пядью — миновав Глазго, добирается до

Лондона. По пути делает остановку, чтобы выйти на поверхность в Ливерпуле, но решает, что под землей лучше. В Лондоне тайком проникает на борт грузового судна, отходящего в Новый Свет, где он мечтает начать жизнь сначала, на сей раз в виде лягушки.

Прибыв в Бостон, Энтвисл знакомится с Маргарет Фигг, миловидной школьной учительницей из Новой Англии; пикантность девушки состоит в том, что она сначала печет хлеб, а потом кладет его себе на голову. Очарованный, Энтвисл женится на ней, и они открывают лавчонку, где предлагают шкуры и ворвань в обмен на резные изделия, раскручивая спираль бессмысленной деятельности. Коммерческий успех не заставляет себя ждать, и уже в 1850 году Энтвисл богат, образован, уважаем и изменяет жене с крупной самкой опоссума. Маргарет Фигг родила ему двух сыновей — нормального и дурачка, хотя разницу понять трудно, пока кто-нибудь не даст каждому по игрушке йо-йо. Маленькому торговому предприятию суждено было вырасти в огромный современный универсальный магазин, и, когда Энтвисла в восемьдесят пять лет отправляет на тот свет оспа в сочетании с ударом томагавка по башке, он умирает счастливым.

Примечание: не забыть сделать Энтвисла приятным человеком.

Место действия и приметы, 1976 год.

Двигаясь на восток по Олтон-авеню, сначала проходишь склад братьев Костелло, затем мастерскую Эйдельмана по ремонту талесов, затем похоронное бюро Чоунза, затем бильярдную Хигби. Ее владелец Джон Хигби — коренастый человек с густой лохматой шевелюрой; в девять лет он упал с лестницы, поэтому теперь, если хочешь, чтобы он перестал скалить зубы, его надо предупредить за два дня. Если повернуть от Хигби на север города — в его «жилую» сторону (хотя теперь там деловая сторона, а жилая переместилась в другую сторону), то увидишь небольшой зеленый парк. В нем прохаживаются и беседуют горожане, и, хотя тут не случается ни грабежей, ни изнасилований, к гуляющим нередко пристают попрошайки и люди, утверждающие, что знакомы с Юлием Цезарем. Сейчас бодрящий осенний ветер (который здесь называют сантаной,⁸ потому что он дует всякий раз в одно и то же время года и многих, кто постарше, выдергивает из обуви) срывает с деревьев последние листья и сбивает их в мертвые кучи. Возникает почти экзистенциальное чувство бессмысленности всего сущего — особенно после закрытия массажных салонов. И отчетливое ощущение метафизической «инакости», которую не объяснить словами — разве только сказать: «Это непохоже на то, что обычно бывает в Питтсбурге». Сам город — своего рода метафора, но чего? И не только метафора, но и прямое подобие. Он «на своем месте». Он «здесь и сейчас». И вместе с тем «позже». Это любой город в Америке — и в то же время не город. Этим он страшно сбивает с толку почтальонов. А самый большой универмаг в нем называется «Энтвисл».

Бланш (прототип — двоюродная сестра Тина):

Бланш Мандельштам, милая толстушка с нервными пухлыми пальчиками и слабым зрением, требующим очков с толстыми стеклами («Я хотела быть пловчихой и участвовать в Олимпийских играх, — сказала она своему врачу, — но с плавучестью у меня проблемы»), просыпается от сигнала радиочасов.

Когда-то Бланш можно было назвать хорошенькой, но давно — в эпоху плейстоцена, не позже. Однако для ее мужа Леона она «самое красивое создание на свете, не считая Эрнеста Боргнайна».⁹ Бланш и Леон познакомились много лет назад на танцульке для

⁸ *Сантана* или, чаще, *Санта Ана* — сильный сухой ветер из пустыни, дующий осенью и зимой в прибрежных районах Южной Калифорнии.

⁹ *Эрнест Боргнайн* (1917–2012) — американский актер кино и телевидения, лауреат премии «Оскар» за

старшеклассников (танцует она превосходно, правда, во время танго постоянно сверяет свои шаги со схемой в несколько футов длиной). Они разговорились и поняли, что очень часто им нравится одно и то же. Оба, например, любили спать на беконных чипсах. Сильное впечатление на Бланш произвело то, как Леон одевается: раньше она никогда не видела, чтобы на человеке было сразу три шляпы. Влюбленные поженились, и вскоре у них случилась первая и единственная супружеская близость. «Это было божественно, — вспоминает Бланш, — правда, Леон, помнится, попытался вскрыть себе вены».

Бланш сказала молодому мужу, что, хотя он кое-что зарабатывает в качестве двуногого подопытного кролика, она не намерена уходить с работы из обувного отдела «Энтвислз». Леон, которому зазорно было жить за счет жены, нехотя согласился, но взял с нее слово, что она уволится, когда ей исполнится девяносто пять. Сейчас пара села за стол завтракать. Перед ним — стакан сока, тост и чашка кофе. Бланш, как обычно, пьет горячую воду и ест куриное крылышко, свинину в кисло-сладком соусе и каннелони. После чего она отправляется в «Энтвислз».

Примечание: сделать так, чтобы Бланш, как двоюродная сестра Тина, ходила, напевая, пусть и не всегда японский национальный гимн.

Кармен (*психопатологический этюд, основанный на характерных особенностях, подмеченных у Фреда Симдонга, его брата Ли и их кота Спарки*).

Кармен Пинчук, коренастый и лысый, вышел из наполненной паром ванной и снял шапочку для душа. Хотя на голове у него не было ни единого волоска, он терпеть не мог мочить свой лысый череп. «Зачем мне это? — говорил он друзьям. — Чтобы враги имели передо мной преимущество?» Кто-то высказался в том смысле, что такое объяснение можно счесть странным, но он засмеялся и, бросая по сторонам напряженные взгляды, чтобы знать, смотрят на него или нет, принялся целовать диванные подушки. Пинчук — нервный субъект; в свободное время он ловит рыбу, но с 1923 года ничего не поймал. «Что делать, так карта легла», — сдавленно усмехается он. Но, когда один знакомый указал ему, что он забрасывает удочку в банку сливок, он смутился.

Пинчук много чего делал на своем веку. Его исключили из школы за то, что он стонал на уроках, а после этого он работал пастухом, психотерапевтом и мимом. Теперь он сотрудник Службы рыбоохраны и охраны дикой природы, где ему платят за то, что он обучает белок испанскому Те, кому Пинчук дорог, называют его панком, одиночкой, психопатом и румяным щекастиком. «Он любит сидеть у себя в комнате и пререкаться с радиоприемником», — сказал один его сосед. «Он способен на чудеса солидарности, — заметил другой. — Однажды, когда миссис Монро поскользнулась на льду, он из сочувствия поскользнулся на том же льду». В политическом плане Пинчук, по его собственному определению, независимый, и во время последних президентских выборов он проголосовал за Сизара Ромеро,¹⁰ вписав его в бюллетень.

Сейчас Пинчук в своей твидовой шоферской кепке, держа в руке коробку, завернутую в оберточную бумагу, вышел из дома, где он снимает дешевое жилье. Потом, сообразив, что на нем, кроме кепки, ничего нет, он вернулся, оделся и отправился в «Энтвислз».

Примечание: не забыть поподробнее остановиться на нелюбви Пинчука к своей кепке.

лучшую мужскую роль (1955).

¹⁰ Сизар Ромеро (1907–1994) — американский актер.

Встреча (набросок).

Двери универсального магазина открылись ровно в десять, и, хотя понедельник обычно небожий день, подвальный этаж быстро наполнился посетителями благодаря распродаже радиоактивного тунца. Над обувным же отделом, как только Кармен Пинчук протянул коробку Бланш Мандельштам, мокрым брезентом нависло ощущение неминуемого апокалипсиса. Он сказал:

— Я хотел бы вернуть эти мокасины. Они мне жмут.

— Вы сохранили чек? — сделала Бланш встречный выпад, стараясь не терять самообладания, хотя позднее она признавалась, что ее мир в тот момент внезапно начал рушиться. («После несчастного случая я не могу иметь дело с людьми», — говорила она друзьям. Полугодом раньше, играя в теннис, она проглотила мяч. С тех пор дыхание у нее неровное.)

— Н-н-нет, — нервно ответил Пинчук. — Я его потерял.

(Главная проблема его жизни в том, что у него вечно все куда-то девается. Однажды он лег спать, а когда проснулся, увидел, что нет кровати.)

За спиной у него уже выстроилась нетерпеливая очередь, и его прошиб холодный пот.

— Тогда вам надо будет получить разрешение администратора, — сказала Бланш, направляя Пинчука к мистеру Дубинскому, с которым она крутила роман с Хэллоуина (Лу Дубинский, выпускник лучшей в Европе школы машинописи, был виртуозом своего дела, пока алкоголь не понизил скорость печати до одного слова в день и ему не пришлось уйти в администраторы универмага). — Вы их носили? — продолжила Бланш, едва сдерживая слезы. Представлять себе Пинчука в мокасинах ей было нестерпимо больно. — Мой отец носил мокасины, — призналась она. — Оба на одной ноге.

Пинчука уже корчило.

— Нет, — сказал он. — Э... в смысле да. Я их надевал, но ненадолго: принимал в них ванну.

— Почему вы их купили, если они вам жмут? — спросила Бланш, не зная, что формулирует основополагающий парадокс человеческой природы.

Дело в том, что Пинчуку в мокасинах с самого начала было неудобно, но он никогда не мог заставить себя сказать «нет» продавцу.

— Мне очень важно, чтобы ко мне хорошо относились, — ответил он откровенно. — Однажды я купил живую антилопу гну, потому что не в силах был сказать «нет».

Примечание. О. Ф. Крумгольд написал блестящую статью о племенах на Борнео, у которых в языке отсутствует слово «нет»; отказ выражается кивком головы и словами: «Я свяжусь с вами позднее». Это подтверждает его более раннюю гипотезу, что стремление любой ценой заслужить хорошее отношение носит не социально-адаптивный, а генетический характер, будучи явлением во многом того же порядка, что и способность высидеть до конца оперетту.

В одиннадцать десять администратор Дубинский разрешил обмен, и Пинчук получил туфли большего размера. Впоследствии Пинчук признавался, что из-за этого случая испытал сильную депрессию и головокружение, еще одной причиной которых он считал новость о женитьбе своего попугая.

Вскоре после истории в «Энтвислз» Кармен Пинчук уволился с работы и стал китайским официантом в «Кантонском дворце Сунг Чинг». Бланш Мандельштам перенесла тяжелый нервный срыв и попыталась сбежать с фотографией Диззи Дина.¹¹

Примечание, сделанное по зрелом размышлении: Дубинский пусть лучше

¹¹ *Диззи Дин* (Джей Ханна Дин, 1910–1974) — американский бейсболист.

будет куклой-марионеткой.

В конце января «Энтвислз» закрыл свои двери навсегда, и его владелец Джули Энтвисл переселил свою семью, которую горячо любил, в зоопарк Бронкса.

(Эту последнюю фразу включить в окончательный текст в неизменном виде. Она звучит великолепно. Конец заметок к главе 1.)

Осторожно, НЛО



В новостях снова заговорили об НЛО, и, несомненно, пришло время всерьез исследовать этот феномен. (Если быть точным, сейчас десять минут восьмого, так что мы даже слегка опоздали, и я успел здорово проголодаться.) До сих пор считалось, что рассуждать о летающих тарелках могут только чудаки и чокнутые. Впрочем, нередко очевидцев признавали теми и другими одновременно. И все же непрекращающийся поток достаточно убедительных свидетельств вынудил научное сообщество и командование военно-воздушных сил пересмотреть отношение к проблеме. Недавно из госбюджета была выделена сумма в размере двухсот долларов, что позволит наконец приступить к всестороннему изучению загадочного явления.

Вопрос стоит так: есть ли разумные существа во Вселенной? И если да — есть ли у них лазерное оружие?

Возможно, не все НЛО имеют внеземное происхождение, но специалисты сходятся в том, что светящийся сигарообразный предмет не мог бы подняться в воздух со скоростью двенадцать тысяч миль в секунду без техобслуживания и свеч, которые бывают только на Плутоне. Если изучаемые объекты действительно прилетели с другой планеты, то создавшая их цивилизация должна опережать в развитии нашу на миллионы лет. Либо им просто здорово повезло. Профессор Леон Типчек убежден в существовании цивилизации, от которой Земля отстает примерно на четверть часа. Он уверяет, что это дает инопланетянам колоссальные преимущества — ведь им не приходится сломя голову нестись на свидание.

Доктор Брэкиш Менцис, сотрудник Паломарской обсерватории (или пациент паломарской психиатрической лечебницы — в тексте неразборчиво), утверждает, что при движении со скоростью, близкой к скорости света, понадобятся миллионы лет, чтобы добраться до нас даже из ближайшей галактики, а принимая в расчет качество бродвейских мюзиклов, вряд ли затея того стоит. (Передвижение со скоростью большей, чем скорость света, невозможно, да и вряд ли желательно — сдувает шляпу.)

Любопытный факт: по мнению сегодняшних астрономов, Вселенная не бесконечна. Это чрезвычайно ободряющая весть, особенно для тех, кто никогда не помнит, куда дел ключи. Вселенная расширяется, однажды она взорвется и исчезнет: на этом держится вся современная наука. Вот почему, даже если милая девушка из соседнего отдела не совсем то, о чем вы мечтали, все-таки имеет смысл пойти на компромисс.

Наиболее частый вопрос в связи с НЛО: если тарелки прилетели из космоса, почему экипаж не попытается вступить с нами в контакт, вместо того чтобы с таинственным видом мотаться вдали от населенных пунктов? На этот счет у меня есть собственная теория. Я вполне допускаю, что нам предлагают способ общения, принятый в других галактиках. Я и сам как-то мотался за одной студенткой театрального училища, и эти полгода были лучшими в моей жизни. А кроме того, не следует забывать, что, говоря о жизни на других планетах, мы обычно подразумеваем аминокислотные организмы, а они в принципе не очень-то

общительны, даже на вечеринках.

Большинство полагает, что НЛО — сугубо современный феномен. Так ли это на самом деле? Не логичнее ли предположить, что человечество наблюдает за НЛО уже много веков? (Это ведь нам век кажется долгим, особенно если дашь в долг; но в масштабах Вселенной сто лет — не дольше секунды. Вот почему неплохо иметь при себе зубную щетку и быть готовым убраться по первому требованию.) Современные исследователи полагают, что встречи с неопознанными летающими объектами случались еще в библейские времена. Так, в книге Левит читаем: «И явился огромный серебряный шар над войском ассирийским, и по всему Вавилону сделался стон и скрежет зубовой, и не прекращался, пока не воззвали к народу пророки его и повелели народу опомниться и взять себя в руки».

Трудно не заметить сходство этого загадочного происшествия с другим, описанным много лет спустя у Парменида: «Внезапно в небе с разных сторон появились три медно-красных сфероида. Они устремились к центру Афин и, соединившись, долго кружили над термами, что заставило кое-кого из наших мудрейших философов броситься за полотенцем». В свою очередь, эти «три медно-красных сфероида» удивительно напоминают описание в недавно найденной славянской рукописи девятого века: «И зрит княже не зегзицу над рецей, и не скол там летахом, а летахом багряны кругляши. Унд иже с ними».

Церковь считала подобные явления несомненным предвестием близкого конца света. Однако ничего не случилось, наступил понедельник, и всем пришлось выходить на работу. Общее разочарование было велико.

Ну и наконец, наиболее впечатляющее свидетельство о встрече с необъяснимым небесным явлением оставил великий Гёте. «Возвращаясь домой с Лейпцигской лыжной ярмарки, — пишет он, — я шел лугом и в какой-то момент взглянул вверх. Неожиданно в южной стороне небосвода появились несколько карминно-алых шаров. Они снизились с большим ускорением и начали преследовать меня. Я крикнул им, что я гений и бегаю не очень быстро, но шары не отставали. Тогда, разгневавшись, я послал им проклятье, и они в ужасе улетели прочь. Позже я рассказал об этой истории Бетховену (еще не зная, что он почти совсем оглох); Людвиг улыбнулся, кивнул и произнес: „*Es muss sein*“ (Это должно быть)».

В большинстве случаев тщательные исследования на месте происшествия показывали, что за неопознанный летающий объект были приняты метеорологические зонды, метеориты, спутники, а в одном случае даже мужчина по имени Луи Мандельбаум, унесенный ветром с крыши Центра международной торговли.

Типичным примером такого рода «объяснимых» наблюдений может служить свидетельство сэра Честера Рамсботтома: «Пятого июня тысяча девятьсот шестьдесят первого года я вел машину по дороге в графстве Шропшир. В два часа ночи я заметил сигарообразный объект, который явно преследовал меня. Я попробовал оторваться, но объект не отставал, точно повторяя все мои маневры. Он был яркого пурпурного цвета, и ни резкие повороты, ни виражи на большой скорости не помогли мне уйти от погони. Я почувствовал тревогу и покрылся испариной. Потом стало так страшно, что я закричал и, по всей вероятности, потерял сознание. Очнулся я в больнице, как ни странно, совершенно невредимый». Проведя соответствующие исследования, специалисты установили, что объектом, который наблюдал сэр Честер, был его собственный нос. Понятно, что все попытки избавиться от преследования были обречены на неудачу, поскольку нос все время находился у него на лице.

Другая история, тоже впоследствии получившая объяснение, началась с рапорта, который в конце апреля 1972 года подал командованию генерал-майор Кертис Мемлинг с авиабазы ВВС «Эндрюс»: «Однажды ночью я шел через поле и неожиданно увидел в небе большой серебряный диск. Он летел метрах в тридцати прямо над моей головой и проделывал фигуры, не доступные никакому летательному аппарату. Внезапно он набрал высоту и с гигантской скоростью улетел прочь».

Специалисты, изучавшие этот случай, почуяли неладное, заметив, что генерал-майор не может рассказать о происшествии без смеха. Через некоторое время он признался, что возвращался в ту ночь с фильма «Война миров», который посмотрел в гарнизонном кинотеатре. По собственному выражению, на просмотре его «здорово вставило». Забавно, что в 1976 году генерал Мемлинг снова подал рапорт о встрече с НЛО; тогда быстро выяснилось, что его тоже ввел в заблуждение нос сэра Честера Рамсботтома. Эта история вызвала панику среди командования военно-воздушных сил и в конце концов привела генерала Мемлинга на скамью военного трибунала.

Хотя большинство так называемых встреч с НЛО впоследствии получают вполне земное объяснение, некоторые все же остаются загадкой. Вот несколько примеров подобных встреч.

О первой сообщил житель Бостона в мае 1969 года: «Мы с женой гуляли по набережной. Супругу мою не назовешь красоткой. Она полновата. Собственно, поэтому я вез ее на тележке. Вдруг я поднял голову и увидел здоровенную белую тарелку. Мне показалось, она с огромной скоростью опускается прямо на нас. Вероятно, я запаниковал, потому что бросил тележку с женой и пустился бежать. Тарелка прошла прямо у меня над макушкой, и я услышал металлический голос, от которого мороз продрал по коже. Голос сказал: проверь автоответчик. Не помню как, я добрался домой, включил автоответчик и узнал, что Ральф переехал и меня просят пересылать его почту на Нептун. Ральф — это мой брат, с тех пор я никогда его не видел. А у жены случился нервный срыв, и теперь она разговаривает только азбукой Морзе».

А вот сообщение И. М. Аксельбанка из Афин, штат Джорджия, сделанное в феврале 1971 года: «Я опытный пилот и в тот день направлялся на личной „сессне“ из Нью-Мексико в Амарильо, Техас. Собирался забомбить пару козлов, чьи религиозные убеждения не вполне разделяю. Неожиданно я заметил слева по борту какой-то объект. Сначала решил, что это аэроплан, но он выпустил в меня зеленый луч, и „сессна“ за четыре секунды потеряла одиннадцать тысяч футов высоты, а мой парик сорвался с головы и пробил дыру в крыше кабины. Я пытался запросить помощь по рации, но почему-то поймал только старый радиоспектакль. Объект приблизился почти вплотную, а потом улетел с невероятной скоростью. К этому моменту я полностью утратил ориентацию и был вынужден совершить аварийную посадку на шоссе. Приняв решение не покидать кабины, я некоторое время вел самолет по земле, но не вписался в тоннель и сломал крылья».

Одна из самых загадочных историй случилась в августе семьдесят пятого с жителем Монтэк-Пойнта на Лонг-Айленде: «Я уже лег, но никак не мог уснуть. Всё думал о жареной курочке в холодильнике. Как она там? Мне казалось, она тоже не спит. Я подождал, чтоб не разбудить жену, и тихонько пошел в кухню. Хорошо помню, как взглянул на часы: было ровно четверть пятого. Это точно, потому что часы на кухне не идут уже двадцать первый год и всегда показывают четыре пятнадцать. Еще я обратил внимание, что Иуда, наш пёс, ведет себя как-то странно. Он стоял на задних лапах и напевал: „Что за радость быть девчонкой“. Вдруг вся комната стала ярко-оранжевой. Сначала я подумал, это жена рассердилась, что я перебею себе аппетит, и подожгла дом. Но потом выглянул в окно и увидел, что сильный оранжевый луч идет от огромного сигарообразного объекта, висевшего прямо над садом. От изумления я застыл и очнулся, как мне показалось, через целую вечность — хотя на часах было по-прежнему четверть пятого, так что точно сказать не берусь. Тут из корабля протянулось огромное механическое щупальце, выхватило у меня два куриных крылышка и поспешно спряталось. Потом корабль стремительно набрал высоту и растаял в небе. Когда я сообщил обо всем в Министерство военно-воздушных сил, мне ответили, что я наблюдал стаю перелетных птиц. Я возмутился, тогда полковник Квинси Баскомб лично пообещал, что ВВС вернут мне оба куриных крылышка, однако к настоящему времени я получил только одно».

И наконец, случай с двумя заводскими рабочими из Луизианы в январе 1987 года: «Мы с Роем рыбачили на болоте. Кому как, а мне на болоте самый мед, да и Рою тоже. Были не

выпивши, хотя захватили с собой три литра метилхлорида. Кто не знает — хорошо под лимончик или там с редисочкой, зеленым лучком. Где-то часов в двенадцать ночи смотрим наверх и видим желтый, как я не знаю, шар. Идет прямо на болото. Рой подумал: цапля — и пальнул. Я говорю: „Рой, какая же это цапля — у нее и клюва нет“. А по клюву всегда можно определить, цапля или нет. Вон у Ронова сынишки здоровенный клюв, так парень думает, что он цапля. Короче, потом открывается люк, выходят несколько типов. Похожи на маленькие приемнички, только зубастые и волосы ежиком. А на ногах вместо пальцев колесики. Они помахали, чтоб я подошел, ну, я подошел, и они мне вкололи чего-то, так что я стал улыбаться и вообще вел себя как телепузик. Они посоветовались, голос у них странный — похоже, как, бывает, сдаешь машину назад и врежешься в толстяка, — потом затащили меня внутрь и устроили вроде диспансеризации. А я и не спорил, чего мне спорить, все равно я уже года два не проверялся. Они вмиг научились говорить по-нашему, но все равно путались на ровном месте, вместо „пропедевтика“ говорили „герменевтика“. Сказали, что прилетели из другой галактики, чтобы предупредить, что мы, земляне, должны между собой жить в мире, а то они вернуться со страшным оружием и заламинируют всех первенцев мужского пола. Еще сказали, что мой анализ крови будет готов через два дня, и если они мне не позвонят, значит, всё путем и мы с Клер можем пожениться».

Моя апология



Из всех знаменитых людей прошлого я больше всего хотел бы быть Сократом. Не просто потому, что он прославился как великий мыслитель: мне самому тоже принадлежит немало любопытных идей (правда, все они касаются шведских стюардесс, черных чулочков и наручников). Нет, дело не в уме. Что восхищает меня в мудрейшем из древних греков — это его отвага перед лицом смерти, готовность не изменять своим убеждениям и отстоять их даже ценой жизни. Не могу сказать, что сам я столь же храбр. От внезапного громкого звука, вроде выстрела из выхлопной трубы, я падаю прямо на собеседника. Героическая смерть Сократа придала его жизни несомненный смысл — чего начисто лишена моя, хотя и представляется до некоторой степени уместной Федеральному департаменту по налогам. Признаться, я не раз примерял на себя сандалии великого философа. Но всякий раз, едва попытавшись застегнуть их, тут же засыпал и видел один и тот же сон.

Тюремная камера. Вообще я сижу в одиночке, размышляя над каким-нибудь трудным вопросом — например, можно ли считать вещь произведением искусства, если ею также удобно чистить сковородки? Но сейчас меня пришли навестить **Симмий** и **Агафон**.

Агафон. О, мой дорогой друг и мудрейший из мудрых, как проходят дни твоего заточения?

Аллен. Что может смертный сказать о заточении, Агафон? Только тело подвержено ограничению. Моя мысль по-прежнему свободна. Она не скована этими стенами, и потому я спрашиваю: существует ли заточение на самом деле?

Агафон. Да, но если ты захочешь прогуляться?

Аллен. Хороший вопрос. Нет, прогуляться я не смогу.

Мы сидим в классических позах — примерно как изображают на фризях. Наконец Агафон говорит.

Агафон. К сожалению, дело плохо. Тебя приговорили к смертной казни.

Аллен . Сколь досадно быть поводом для разногласий.

Агафон . Никаких разногласий. Все за.

Аллен . В самом деле?

Агафон . С первого голосования.

Аллен . Хм. Я рассчитывал на большую поддержку.

Симмий . Суд возмущен твоими проектами идеального государства.

Аллен . Может, не надо было предлагать пост правителя-философа?

Симмий . Тем более показывать пальцем на себя.

Агафон . И покашливать.

Аллен . Ну что ж. И все-таки я не назову моих палачей злом.

Агафон . Я тоже.

Аллен . Да?.. Ибо что есть зло, как не избыток добра?

Агафон . Не понял.

Аллен . Давайте вместе поразмыслим. Когда человек поет красивую песню — это прекрасно. Но если он поет не переставая, у окружающих начинается головная боль.

Агафон . Верно.

Аллен . И если он не намерен сию же секунду замолчать, нам хочется запихать носок ему в глотку. Согласны?

Агафон . Конечно. Все правильно.

Аллен . Когда должны исполнить приговор?

Агафон . А который час?

Аллен . Сегодня?!

Агафон . Не хватает камер.

Аллен . Что ж. Да будет так. Займемся умиранием. И пусть люди узнают, что я погиб за идеалы истины и независимого судопроизводства. Не плачь же, Агафон.

Агафон . Да нет, аллергия.

Аллен . Ибо для человека мыслящего смерть — не конец, а начало.

Агафон . Как это?

Аллен . Сейчас объясню.

Симмий . Поторопись.

Агафон . Верно ли, Симмий, что человек не существовал до своего рождения?

Симмий . Да, конечно.

Аллен . И что он не будет существовать и после смерти?

Симмий . Верно. Я согласен.

Аллен . Хм...

Симмий . Ну?

Аллен . Подожди минутку. Я что-то сбился. Знаешь, друг, здесь кормят одной бараниной, и ту не прожаривают толком.

Симмий . Большинство людей считает, что смерть — конец всего. И соответственно, ее боятся.

Аллен . Смерть есть небытие. То, чего нет, не существует. Значит, смерти не существует. Есть только истина. Истина и красота. Они равновелики, но не взаимозаменяемы. Да, а что именно там затевают, не знаете?

Агафон . Дадут цикуту.

Аллен (*озадаченно*). Цикуту?

Агафон . Помнишь такую черную жидкость, которая прожгла твой мраморный стол?

Аллен . Что, серьезно?

Агафон . Всего стаканчик. Но если вдруг прольешь — в запасе есть еще чаша.

Аллен . Интересно, это больно?

Агафон . Просили передать, чтобы ты не устраивал сцен. Соседям действует на нервы.

Аллен . Ага...

Агафон . Я уверяю всех, что ты скорее храбро умрешь, чем предашь свои убеждения.

Аллен. Правильно, правильно... А что, мысль о ссылке не всплывала?

Агафон. Ссылать перестали с прошлого года. Слишком хлопотно.

Аллен. Действительно. Так... *(Взволнован и растерян, но стараюсь держать себя в руках.)* Собственно, я... Ну да, ну да. Ну, а... вообще какие новости?

Агафон. Ты не поверишь, я совершенно помешался на Изоцельсе. У него есть гениальная идея абсолютно нового треугольника.

Аллен. Любопытно, любопытно... *(Вдруг переставая храбриться.)* Послушайте, можно я вам признаюсь? Я не хочу умирать! Я еще слишком молод!

Агафон. Но это такой случай умереть за истину!

Аллен. Поймите правильно. Я всей душой за истину. Но у меня на той неделе заказан столик в Спарте. Важная встреча, просто нельзя не прийти. К тому же моя очередь платить. Вы ведь знаете спартанцев — это отчаянные драчуны.

Симмий. Может быть, наш величайший философ просто трус?

Аллен. Я не трус. Но и не герой. Нечто среднее.

Симмий. Просто дрожащая тварь.

Аллен. Можно и так сказать.

Агафон. Но разве не ты доказал, что смерти не существует?

Аллен. Знаешь, я много чего доказал. Надо ведь платить за жильё. Это моя работа. Теории и соображения. Остроумные замечания. Афоризмы от случая к случаю. Это вам, конечно, не маслины собирать — но не будем все-таки терять головы...

Агафон. Но ты же много раз доказывал, что душа бессмертна.

Аллен. Так и есть! На бумаге. Видишь ли, друг, за пределами класса философия не весильна.

Симмий. А вечные эйдосы, идеи вещей? Ты говорил, каждая вещь всегда существовала и всегда будет существовать.

Аллен. Я имел в виду главным образом тяжелые вещи. Статуи, например. Люди — совсем другое дело.

Агафон. А все рассуждения о том, что смерть есть сон?

Аллен. Они верны, верны. Только надо понимать разницу. Когда ты мертв, то по команде «рота, подъем!» очень трудно нашарить сандалии.

Входит прислужник с лицом Бенни Хилла.¹² В руках у него чаша цикуты.

Прислужник. А вот и я. Кто тут пьет яд?

Агафон *(указывая на меня).* Он.

Аллен. Мама, какая большая чашка. А она должна так дымиться?

Прислужник. Обязательно. И выпей до конца, потому что яд часто остается на донышке.

Аллен *(обычно здесь я веду себя совсем не так, как Сократ, и, говорят, кричу во сне).* Нет! Не буду! Я не хочу умирать! На помощь! Помогите! Не надо! Пожалуйста!

В паузе между отчаянными мольбами прислужник вручает мне бурлящее варево, и кажется, что все кончено. Но потом — вероятно, благодаря инстинкту самосохранения — сон всякий раз переменяется, и входит вестник.

Вестник. Остановитесь! Суд переголосовал! Все обвинения сняты. Ваш вклад оценен по достоинству, и решено вас, наоборот, наградить.

Аллен. Успели. Успели все-таки! Я знал, что они одумаются. Стало быть — я

¹² Бенни Хилл (1924–1992) — знаменитый английский комик. Его телешоу лично запретила Маргарет Тэтчер.

свободен? Свободен. Я свободный человек! И вдобавок наградят. Агафон, Симмий, живее, собирайте мои вещи. Я спешу. Пракситель наверняка захочет поскорее приняться за бюст. А на прощанье, друзья, позвольте небольшую притчу.

Симмий . Черт побери, ну надо же! Во дают законники. Чем они там думают?

Аллен . Несколько человек живут в пещере. Здесь всегда темно, и обитателям невдомек, что снаружи светит солнце. Им известен лишь один свет: неверный огонек свечей, который помогает ориентироваться в темноте.

Симмий . Интересно, откуда там свечи?

Аллен . Не важно, давай просто допустим, что есть.

Агафон . Живут в пещере, но пользуются свечами? Что-то не очень складно.

Аллен . Ты можешь один раз дослушать?

Агафон . Ладно, ладно, только не отвлекайся.

Аллен . И вот как-то один из обитателей пещеры выбирается наружу и видит внешний мир.

Симмий . Во всем его блеске.

Аллен . Вот именно. Во всем его блеске.

Агафон . А потом пытается рассказать остальным, но никто не верит?

Аллен . Ничего подобного. Ничего он никому не рассказывает.

Агафон . Не рассказывает?

Аллен . Он просто открывает колбасную лавочку, женится на танцовщице и умирает от инсульта в сорок два.

Они хватают меня и вливают цукуту. Тут я обычно просыпаюсь в холодном поту, и только два яйца и кусочек копченой семги способны меня успокоить.

Образ Сиднея Кугельмаса в романе «Госпожа Бовари»



Кугельмас, профессор классической словесности в Сити-колледже,¹³ был снова несчастлив в браке. Дафна Кугельмас оказалась мещанкой. Вдобавок у него было два олуха от первой жены, Фло, и он сидел по уши в алиментах и хлопотах о потомках.

— Откуда я знал, что так повернется? — жаловался Кугельмас своему психотерапевту. — Мне казалось, в Дафне что-то есть. Кто же подозревал, что однажды она сорвется с катушек и раздуется, как дирижабль? Потом, у нее водились деньжата. Само по себе это не основание для женитьбы, но толковому человеку не повредит. Вы меня понимаете?

Кугельмас был лыс и мохнат, как медведь, но у него была душа.

— Мне нужна другая женщина. Мне нужен роман. Возможно, по мне не скажешь, но я из тех, кому необходима романтика. Я не могу жить без нежных чувств, без флирта. Я не становлюсь моложе и, пока не поздно, хочу заниматься любовью под песни гондольеров, сидеть за столиком в «21»,¹⁴ потягивать красное вино, острить и молчать, глядя в ее глаза, в которых отражаются свечи. Вы слушаете?

Доктор Мандель поерзал в кресле и сказал:

— Роман ничего не решит. Не будьте наивны. Ваши проблемы значительно глубже.

¹³ *Сити-колледж* — городской колледж Нью-Йорка, который закончил Вуди Аллен.

¹⁴ «21» — знаменитый нью-йоркский ресторан; его можно увидеть в фильме Аллена «Таинственное убийство на Манхэттене».

— Само собой, я не намерен терять головы, — продолжал Кугельмас. — Второго развода я не потяну. Дафна выпьет из меня последние соки.

— Мистер Кугельмас...

— Но Сити-колледж исключается, потому что Дафна тоже там работает. Не то чтоб у нас на кафедре кто-то поражал воображение, но среди студенток, знаете...

— Мистер Кугельмас...

— Помогите мне. Прошлой ночью я видел сон. Я скакал по лужайке с корзинкой для пикника в руках, и на корзинке было написано «Варианты». А потом я заметил, что корзинка — дырявая.

— Мистер Кугельмас, худшее в вашем положении — начать действовать. Постарайтесь просто описать свои переживания, и мы вместе подвергнем их анализу. Вы достаточно опытный пациент, чтобы не рассчитывать на моментальное улучшение. В конце концов, я ведь психоаналитик, а не волшебник.

— В таком случае мне, вероятно, нужен волшебник, — сказал Кугельмас, вставая с кресла. И на этом прервал курс психотерапии.

Недели через две, когда Кугельмасы, как старая мебель, пылились дома, зазвонил телефон.

— Я возьму, — сказал Кугельмас. — Слушаю.

— Кугельмас? — спросил голос. — Кугельмас, это Перский.

— Кто-кто?

— Перский. Если угодно — Великий Перский.

— Простите?

— Я слышал, вы по всему городу ищите волшебника. Не хватает экзотики? А?

— Ш-ш-ш, — прошипел Кугельмас. — Не вешайте трубку. Откуда вы говорите, Перский?

На другой день пополудни Кугельмас одолел три лестничных марша в обветшалом доме в бедном квартале Бруклина. Вглядываясь во мрак коридора, он нашел нужную дверь и позвонил. «Я еще пожалею об этом», — сказал он себе.

Через мгновение его приветствовал невысокий худой человек, бледный, как пергамент.

— Вы и есть Великий Перский? — спросил Кугельмас.

— Перский Великий. Хотите чаю?

— Нет. Хочу романтики. Хочу музыки. Хочу любви и красоты.

— А чаю не хотите? Надо же. Ну хорошо, садитесь.

Перский удалился и, судя по звукам, стал передвигать какие-то коробки, мебель. Потом он вернулся, катя перед собой большой ящик на скрипучих колесиках. Он убрал с него несколько старых шелковых носовых платков и сдул пыль. С виду это была дешевая китайская горка с облупившимся лаком.

— Так. И в чем подвох? — спросил Кугельмас.

— Одну минуточку, — ответил Перский. — Это совершенно дивный трюк. Я готовил его к съезду пифийского ордена,¹⁵ но не собрали кворум. Полезайте.

— Внутрь? Шпагами будете протыкать?

— Вы где-то видите шпаги?

Кугельмас скорчил недоверчивую мину и, ворча, полез в шкаф. Прямо перед собой он увидел пару нелепых брильянтов, приклеенных к ободранной фанере.

— Знаете, если это розыгрыш... — пробормотал он.

— А что не розыгрыш? Теперь внимание. Стоит мне поместить в шкафчик вместе с вами какую-нибудь книгу, закрыть дверцы и трижды постучать, как вы немедленно перенесетесь в этот роман.

¹⁵ «Рыцари Пифии» — масонское братство, организованное в 1864 г. Проповедует идеалы добра, лояльности к власти и религиозной терпимости.

Кугельмас исподлобья посмотрел на волшебника.

— Я вам говорю, — заверил Перский. — Чтоб у меня рука отсохла. Впрочем, необязательно роман. Рассказы, пьесы, стихи. Вы можете повстречать любую из женщин, созданных величайшими авторами на свете. Любую, о какой только мечтали. К вашим услугам лучшие из лучших. Когда надоест — кричите, и я в полсекунды возвращаю вас назад.

— Скажите, Перский, вас давно выписали?

— Поверьте: сервис высокого класса.

Но Кугельмасу не верилось.

— Я умоляю. Вот в этой тухлявой коробке можно устроить такое путешествие?

— За пару десятков.

Кугельмас вынул бумажник.

— Ну, допустим, — сказал он.

Перский сунул деньги в карман брюк и повернулся к книжным полкам.

— Так кого изволите? Сестру Керри? Фрекен Юлию? Офелию? Может быть, что-то из Сола Беллоу? Слушайте, а как вам Кармен? Хотя, пожалуй, для вас это уже тяжело.

— Француженку. Я хочу настоящую французскую любовницу.

— Нана?

— А бесплатно?

— Наташа из «Войны и мира»?

— Француженку, говорю. Знаю! Эмма Бовари! А? По-моему, это именно то, что надо.

— Кугельмас, она ваша. Крикните мне, когда будет довольно.

Волшебник бросил в шкаф дешевый томик Флобера.

— Вы уверены, что это безопасно? — спросил Кугельмас, когда Перский стал закрывать дверцы шкафа.

— Безопасно... Что безопасно в этом чокнутом мире?

Перский трижды постучал по шкафу и распахнул дверцы.

Кугельмас исчез. В это мгновение он стоял в спальне Шарля и Эммы Бовари в Ионвилле. Спиной к нему очаровательная женщина застилала кровать. Больше в комнате никого не было. Невероятно, подумал Кугельмас, уставясь на восхитительную француженку. Фантастика. Я здесь. Это она.

Эмма испуганно обернулась.

— Господи боже, вы меня напугали, — воскликнула она. — Кто вы такой, мсье?

Она говорила словами превосходного английского перевода из книжки Перского.

«Конец света», — подумал Кугельмас. А затем, поняв, что она обращается к нему, произнес:

— Прошу прощения. Я Сидней Кугельмас. Из Сити-колледжа. Профессор классической словесности. Нью-Йоркский Сити-колледж, знаете? К северо-западу от Центрального парка. Собственно, я... О господи!

Эмма Бовари мило улыбнулась и сказала:

— Не хотите ли выпить? Может, бокал вина?

«Как она прекрасна!» — подумал Кугельмас. Какой контраст с его тухлой каракатицей! Ему страшно захотелось обнять это волшебное виденье и сказать, что он мечтал о такой женщине всю свою жизнь.

— Да-да, вина, — севшим голосом ответил Кугельмас. — Белого. Нет, красного. Или белого. Пожалуйста, белого.

— Шарля весь день не будет дома, — шаловливо и многозначительно сказала Эмма.

Выпив вина, они отправились на прогулку по прелестным, истинно французским окрестностям.

— Я всегда мечтала, как однажды придет таинственный незнакомец и спасет меня от монотонности грубой провинциальной жизни, — говорила госпожа Бовари, сжимая его пальцы. Они шли мимо маленькой церкви. — Мне нравится, как ты одет, — прошептала

Эмма. — Я тут не видела ничего похожего. Это так... так современно.

— Называется костюм домашний, — ответил он с нежностью. — Схватил на распродаже.

Внезапно он поцеловал ее. Следующий час они провели под сенью дерева, шепотом и взглядами поверяя друг другу необычайно важные вещи. Потом Кугельмас вдруг сел. Он вспомнил, что обещал встретиться Дафну у «Блуминдейла».¹⁶

— Мне пора, — сказал он Эмме. — Но не печалься. Я вернусь.

— Я буду ждать, — ответила Эмма.

Он порывисто обнял ее, и они пошли назад к дому. Кугельмас взял лицо Эммы в свои ладони, еще раз поцеловал ее и крикнул:

— О'кей, Перский! Мне надо в «Блуминдейл» к полчетвертого.

Раздался звучный хлопок, и Кугельмас очутился снова в Бруклине.

— Ну? — торжествующе спросил Перский. — Где вы видели подвох?

— Послушайте, Перский, я уже опаздываю: ярмо зовет. Но когда мы продолжим? Завтра?

— К вашим услугам. Не забудьте пару десятков. И никому ни слова.

— Ага. Я как раз собирался звонить в «Тайм».

Кугельмас схватил такси и помчался в центр. Сердце его пело. «Я влюблен, — думал он, — у меня есть удивительная тайна». Мог ли он предположить, что в эти минуты в классах и аудиториях по всей стране ученики спрашивали своих преподавателей: «А кто этот персонаж на странице сто один? Лысый еврей целует мадам Бовари?» А старый учитель в Су-Фолсе (Южная Дакота) вздохнул и подумал: «Дети, дети... Травка, колесики... И вот результат».

Кугельмас отыскал Дафну в отделе ванн принадлежностей.

— Где тебя носило? — набросилась она на супруга. — Уже полпятого.

— Попал в пробку, — ответил запыхавшийся Кугельмас.

На следующий день Кугельмас снова пошел к Перскому и через несколько минут был чудодейственным образом перенесен в Ионвилль. Увидев его, Эмма не могла скрыть волнение. Они провели вдвоем несколько часов, смеясь и рассказывая друг другу о своем непохожем прошлом. Перед расставанием они любили друг друга. «Боже мой, я делаю это с мадам Бовари! — шептал самому себе Кугельмас. — Я, который всю жизнь путал артикли!»

Шло время, Кугельмас не упускал случая заглянуть к Перскому. У них с Эммой установились близкие и пылкие отношения.

— Не промахнитесь, Перский: мне нельзя появляться у Бовари дальше сто двадцатой страницы, — однажды предупредил волшебника Кугельмас. — Мы можем встречаться, только пока она не связалась с этим самым... Родольфом.

— Почему? — удивился Перский. — А вы не можете ее отбить?

— Отбить! Он аристократ, землевладелец. Этим ребятам только и дела, что крутить романы и носиться верхом. По мне, таких пруд пруди на каждой странице «Женской моды». С причесочкой под Хельмута Бергера.¹⁷ Но Эмма тает.

— А что муж? Ничего не заподозрил?

— Куда ему. Скучный маленький фельдшер, которого жизнь связала с тусовщицей. В десять он уже хочет спать, а она надевает бальные туфельки. Ну ладно... Пока.

И Кугельмас снова вошел в шкаф и тотчас же оказался в имени Бовари в Ионвилле.

— Как дела, симпомпончик? — спросил он у Эммы.

¹⁶ «Блуминдейл» — крупный универмаг в Нью-Йорке.

¹⁷ Хельмут Бергер (р. 1944) — австрийский актер, широко известный по фильмам Висконти «Гибель богов», «Людвиг» и др.

— О Кугельмас, — вздохнула Эмма. — Если бы ты знал, что мне приходится терпеть! Вчера за столом он заснул посреди десерта. Я говорила о «Максиме», о балете, мне было так хорошо, и вдруг слышу храп.

— Ничего, дорогая, я ведь снова с тобой, — сказал Кугельмас, обнимая ее.

«Я заслужил это, — думал он, погружая нос в ее волосы и вдыхая аромат французских духов. — Довольно я страдал. Довольно платил аналитикам. Сколько я искал, сколько потратил сил! И вот я с ней, юной и совершеннолетней, через пять страниц после Леона, за десять до Родольфа. Чтобы взять свое, надо просто попасть в нужную главу».

Эмма, без сомнения, была так же счастлива. Она истосковалась по впечатлениям, и от волшебных сказок о бродвейской жизни, о мчащихся автомобилях и звездах Голливуда и телевидения у юной француженки захватывало дух.

— Расскажи мне еще про О’Джей Симпсона, — умоляла Эмма, когда они с Кугельмасом в сумерках бродили близ церкви аббата Бурнисьена.

— Ну что расскажешь? Великий человек. В нападении ему вообще нет равных. Потрясающая техника. Его просто невозможно остановить.

— А «Оскар»? — спросила Эмма мечтательно. — Я бы все отдала за него.

— Сначала нужно попасть в номинацию.

— Я знаю. Ты объяснял. Но я уверена, что смогу быть актрисой, если немного позанимаюсь. Может, у Страсберга, да? И если бы я нашла толкового агента...

— Посмотрим, посмотрим. Я поговорю со своим волшебником.

Этим вечером, благополучно вернувшись к Перскому, Кугельмас выдвинул идею, чтобы Эмма погостила у него и повидала большой город.

— Нужно обдумать, — сказал Перский. — Может, я сумею это устроить. Случались и более невероятные вещи.

Но оба так и не смогли припомнить ни одной.

— Где тебя всё черти носят? — прорычала Дафна, когда поздно вечером Кугельмас явился домой. — Завел потаскушку?

— Разумеется, как ты догадалась? — утомленно ответил Кугельмас. — Посидели с Леонардом Папкином. Обсуждали социалистическое земледелие в Польше. Ты же знаешь Папкина. Это его конек.

— Ты какой-то странный последнее время, — сказала Дафна. — Чужой. Смотри не забудь — у папули в субботу день рождения.

— Я помню, помню, — сказал Кугельмас, направляясь в ванную.

— Будут все наши. Приедут близнецы. И дядя Хэмиш. Ты с ним повежливей, он тебя любит.

— И близнецы приедут? Прекрасно, — сказал Кугельмас, закрываясь в ванной и избавляясь от голоса жены. Он прислонился к двери и глубоко вздохнул. Скоро он снова будет в Ионвилле, сказал он себе, с любимой женщиной. И на этот раз, если все пойдет хорошо, вернется с ней в Нью-Йорк.

Назавтра, в тринадцать дня, Перский совершил новое чудо. Любовники провели несколько часов в Ионвилле в обществе Бине, а потом сели в экипаж Бовари. В соответствии с инструкцией Перского они крепко обнялись, зажмурились и сосчитали до десяти. Когда они открыли глаза, шарабан подъезжал к боковому входу отеля «Плаза», где с утра Кугельмас оптимистично заказал апартаменты-люкс.

— Как хорошо! Все точно как я представляла, — говорила Эмма, радостно кружась по спальне и разглядывая город через окно. — Это здание «Ф. А. О. Шварц».¹⁸ А вон Центральный парк — а где же «Шерри»?¹⁹ Ага, вижу. Божественно.

¹⁸ «Ф. А. О. Шварц» — названный так в честь основателя крупнейший магазин игрушек на Пятой авеню.

¹⁹ «Шерри Незерленд» — отель класса люкс.

На кровати лежали пакеты от Хальстона и Сен-Лорана. Эмма развернула сверток и приложила черные бархатные брючки к своей безупречной фигуре.

— Костюмчик от Ральфа Лорена, — сказал Кугельмас. — Будешь смотреться на миллион долларов. Иди ко мне, малышка, поцелуемся.

— Я никогда не была так счастлива! — воскликнула Эмма, крутясь перед зеркалом. — Давай пойдем в город. Я хочу скорее посмотреть «Кордебалет», Гуггенхайм и этого Джека Николсона, о котором ты все время рассказываешь. Сейчас идут какие-нибудь фильмы с ним?

— Непостижимо, — пробормотал профессор Гарварда. — Сначала — неизвестный персонаж по имени Кугельмас, а теперь она вообще исчезла из романа. Впрочем, думаю, это и есть свойство классики: можно перечитывать тысячу раз, и всегда находишь что-то новое.

Любовники провели дивные выходные. Кугельмас сказал Дафне, что едет на симпозиум в Бостон и вернется в понедельник. Наслаждаясь каждым мгновением, они с Эммой ходили в кино, обедали в китайском квартале, провели два часа на дискотеке и, улегшись, смотрели фильм по телевизору. В воскресенье спали до полудня, побывали в Сохо и глазели на знаменитостей «У Элейн».²⁰ Вечером заказали в номер икру и шампанское и проговорили до рассвета. Утром, когда они ехали на такси к Перскому, Кугельмас подумал, что лихорадка того стоила. Я не смогу привозить ее сюда слишком часто, но время от времени... будет чудесный контраст с Ионвиллем.

У Перского Эмма забралась в шкаф и, устроившись среди свертков и коробок с покупками, нежно поцеловала Кугельмаса и подмигнула ему: «Следующий раз — у меня». Перский трижды постучал по шкафу. Ничего не произошло.

— Хм, — сказал Перский и почесал в затылке. Он снова постучал, но чудо не свершалось. — Что-то не в порядке, — пробормотал он.

— Перский, не надо шуток! — воскликнул Кугельмас. — Что тут может быть не в порядке?

— Спокойствие, спокойствие. Эмма, вы еще в шкафу?

— Да.

Перский постучал опять, на этот раз сильнее.

— Перский, я еще здесь.

— Я знаю, дорогая. Сидите смирно.

— Перский, нам необходимо отправить ее назад, — прошептал Кугельмас. — Я женатый человек, и через три часа у меня лекция. Маленькое приключение — на большее я не готов.

— Не пойму, — бормотал Перский. — Такой безотказный трюк.

Но он не смог ничего поделать.

— Потребуется немного времени, — сказал он Кугельмасу. — Надо разобраться. Я позвоню.

Кугельмас бросил Эмму в такси и отвез обратно в отель. Он едва успел на лекцию. Он весь день просидел на телефоне, названивая то Перскому, то возлюбленной. Волшебник сказал: чтоб докопаться до причины неполадок, понадобится несколько дней.

— Ну, что симпозиум? — спросила Дафна вечером.

— Превосходно, превосходно, — ответил Кугельмас, поджигая фильтр сигареты.

— Что-то случилось? Ты заряжен, как кот.

— Я? Ха, забавно. Я безмятежен, как летняя ночь. Собираюсь пройтись подышать.

Он сразился с дверным замком, поймал такси и помчался в «Плазу».

— Как нехорошо, — сказала Эмма. — Шарль будет скучать по мне.

— Потерпи со мной, милая, — сказал Кугельмас.

²⁰ «У Элейн» — нью-йоркский ресторан, знаменитый своими посетителями, среди которых Вуди Аллен, Б. Стрейзанд и другие.

Он был бледен и мокр. Он еще раз поцеловал Эмму, бросился к лифтам, наорал на Перского по таксофону из вестибюля и еле успел домой до полуночи.

— Если верить Папкину, с тысяча девятьсот семьдесят первого года в Кракове не было более твердых цен на ячмень, — сказал он Дафне и измученно улыбнулся, залезая под одеяло.

Так прошла неделя.

В пятницу вечером Кугельмас сообщил Дафне, что должен срочно лететь на очередной симпозиум, на сей раз — в Сиракузы. Он бросился в отель, но эти выходные оказались совсем не похожи на прошлые.

— Верни меня в роман или женись на мне, — заявила Эмма. — А пока что мне надо найти работу или поступить на курсы, потому что целый день смотреть телик — это кретинство.

— Отлично. Деньги нам пригодятся. Судя по счетам, ты тут потребляешь вдвое больше своего веса...

— Я вчера встретила в Центральном парке одного внебродвейского продюсера, и он сказал, что я могу подойти для его нового проекта.

— Что еще за клоун?

— Он не клоун. Он чуткий, добрый и симпатичный. Его зовут Джефф, фамилии не помню, он сейчас выдвинут на «Тони».

В тот вечер Кугельмас пришел к Перскому пьяный.

— Успокойтесь, — сказал Перский. — Схлопочете инфаркт.

— Успокойтесь! Он говорит «успокойтесь»! Я схлопотал бессмертный художественный образ, который сейчас заперт в гостиничном номере, а моя жена наверняка посадила мне на хвост частного сыщика.

— Я понимаю, понимаю. Конечно, положение не сахар. — Перский залез под шкаф и принялся что-то откручивать большими пассатижами.

— Меня обложили, — продолжал Кугельмас. — Я иду по улице и озираюсь. Мы с Эммой осточертели друг другу. Не говоря о счетах за номер, которые больше похожи на бюджет Пентагона.

— Что ж я могу поделывать? Мир магии, — откликнулся Перский. — Тонкая материя.

— Тонкая! Как бы не так! Я потчую эту киску черной икоркой с «Дом Периньоном», плюс ее гардероб, плюс она поступила в театральную студию, и ей вдруг срочно понадобились профессиональные фото. И вдобавок — слышите, Перский? — профессор Фивиш Копкинд, который читает введение в литературоведение и всегда мне завидовал, узнал во мне персонаж, который периодически появляется в романе Флобера. Он грозитя пойти к Дафне. Я предвижу катастрофу, разорение, тюрьму. За романчик с мадам Бовари моя жена пустит меня по миру.

— Ну что мне вам сказать? Я стараюсь, я бьюсь день и ночь. Что до личных переживаний — здесь помочь ничем не могу. Я же волшебник, а не психоаналитик.

В воскресенье днем Эмма заперлась в ванной и на мольбы Кугельмаса не отзывалась. Кугельмас смотрел в окно на каток Вольмана и подумывал о самоубийстве. «Жаль, невысоко, а то бы не откладывал. А может, бежать в Европу и начать жизнь сначала... Или пойти продавать „Интернэшнл геральд трибюн“, как вон те девчонки». Зазвонил телефон. Кугельмас машинально поднес трубку к уху.

— Везите ее, — сказал Перский.

У Кугельмаса перехватило дыхание:

— Вы уверены? Вы починили?

— Что-то было с трансмиссией. Поди знай.

— Перский, вы гений. Мы будем через минуту. Даже раньше.

И снова любовники помчались к волшебнику, и снова Эмма Бовари забралась в шкаф со своими свертками. Поцелуя на этот раз не последовало. Перский захлопнул дверцы, глубоко вдохнул и трижды постучал по шкафу. Раздался обнадеживающий хлопок, и, когда

Перский заглянул внутрь, шкаф был пуст. Мадам Бовари возвратилась в книгу. Кугельмас с облегчением перевел дух и пожал волшебнику руку.

— Кончено, — сказал он. — Это мне хороший урок. Отныне буду верен жене до гробовой доски, клянусь.

Он снова пожал Перскому руку и решил прислать ему в подарок галстук.

Три недели спустя на закате чудесного весеннего дня Перский услышал звонок и открыл дверь. На пороге, застенчиво улыбаясь, стоял Кугельмас.

— А, Кугельмас! — сказал волшебник. — Снова ищите приключений?

— Только один разок, — сказал Кугельмас. — Такая чудная погода, и я не становлюсь моложе. Скажите, вы читали «Жалобу Портного»? Помните Мартышку?

— Теперь это стоит двадцать пять долларов, сейчас ведь все дорожает. Но вас я запущу бесплатно. Все-таки я причинил вам много хлопот.

— Вы настоящий друг! — сказал Кугельмас и полез в шкаф, приглаживая остаток волос. — Машина в порядке?

— Надеюсь. Хотя после той истории я толком не пробовал.

— Секс и романтика, — произнес Кугельмас из глубин шкафа. — Чего не сделаешь ради симпатичной мордашки.

Перский бросил внутрь экземпляр «Жалобы Портного» и трижды постучал по шкафу. На этот раз вместо хлопка раздался глухой взрыв, за которым последовал треск разрядов и фонтан искр. Перский отскочил, почувствовал боль за грудиной и упал замертво. Шкаф вспыхнул, и в конце концов весь дом сгорел.

Кугельмас не ведал об этой катастрофе. У него были свои неприятности. По причине аварии он не попал ни в «Жалобу Портного», ни в какой-либо другой роман. Он оказался в старом учебнике интенсивного курса испанского языка и до конца своих дней носился по бесплодной скалистой местности, спасаясь от здоровенного мохнатого неправильного глагола *tener* (иметь), гонявшегося за ним на длинных тонких ножках.

Я обращаюсь к выпускникам



Ни разу за всю историю человечеству не бывало так ясно, что оно на распутье. Одна дорога ведет к утрате последних надежд и отчаянью. Другая — к полному вымиранию. Дай бог, чтоб нам хватило мудрости сделать правильный выбор. Я говорю об этом отнюдь не с унынием, а лишь с кошмарной уверенностью в полной бессмысленности бытия, что может быть ошибочно расценено как пессимизм. Это не пессимизм. Это просто трезвое понимание трагедии современного человека. (Под «современным человеком» здесь понимается всякий родившийся в период между заявлением Ницше «Бог умер» и первым исполнением шлягера «Твоя рука в моей руке».) Есть два способа описать эту трагедию, хотя философы-лингвисты предпочли бы свести ее к математическому уравнению, которое можно решить и носить с собой в бумажнике.

В простейшем виде проблема такова: можно ли постичь смысл жизни при моем размере брюк и ширине плеч? Вы ощутите всю сложность этого вопроса, признав, что наука надежд не оправдала. Конечно, ей удалось победить множество болезней, расшифровать генетический код и отправить человека на Луну; но оставьте восьмидесятилетнего господина наедине с двумя юными медсестричками, и ничего не случится, как и в прежние времена. Ибо подлинные проблемы неизменны. В конце концов, можно ли увидеть в микроскоп человеческую душу? Вероятно; но, судя по всему, только в очень мощный, с двумя окулярами. Мы знаем, что мозг самого современного компьютера не столь совершенен, как мозг пчелы. Правда, это же можно сказать и о некоторых наших родственниках — но с ними видишься только на свадьбах, по особым случаям, а от науки мы зависим постоянно.

Допустим, у меня появились боли за грудиной. Врачи велют сделать рентген. Но что, если от облучения я заработаю что-нибудь пострашнее? Обдумать всесторонне не успеваю — кладут в реанимацию. Дают кислород, и тут, естественно, какой-то практикант решает закурить. После чего на глазах изумленной публики я в одной пижаме пролетаю над зданием Центра международной торговли. И это называется наука? Да, безусловно, благодаря науке мы умеем пастеризовать сыры. И что говорить, в компании без предрассудков сыр — штука приятная. Чего не скажешь о водородной бомбе. Доводилось вам наблюдать, что бывает, если она скатится со стола? А что проку от науки тому, кто в одиночку бьется над извечными загадками бытия? Откуда взялся мир? Давно ли? Началось ли все со взрыва или по слову Божию? Если по слову, то почему было не произнести его неделкой раньше, чтобы мы застали побольше теплых деньков? Что конкретно имеется в виду, когда говорят «человек смертен»? Судя по всему, это не комплимент.

Да и религия, увы, настроения уже не поднимает. Мигель де Унамуно²¹ где-то восторгается «неутомимой настойчивостью разума», но ведь она не всякому по плечу. Особенно при чтении Теккерея. Я часто думаю, как, наверное, легко жилось первобытному человеку, верившему во всемогущего доброжелательного Создателя, который присматривает за всем на свете. Воображаю его разочарование, когда жена вдруг начинала терять талию. Современный человек далеко не так безмятежен. Он ввергнут в пучину безверия. Он, как это деликатно называют, некоммуникабелен. Он повидал ужасы войны, он знает не понаслышке, что такое стихийные бедствия и вечера знакомств.

Мой близкий друг Жак Моно²² любит порассуждать о хаотичности Вселенной. Он убежден, что все на свете появилось по чистой случайности, за исключением его завтрака, который — тут не ошибешься — состряпала домработница. Да, вера в Божественный Промысел вселяет спокойствие. Но ведь это не снимает с человека ответственности. Разве не сторож я брату моему? Сторож. Любопытно, что лично я делю эту честь со зрителями городского зоопарка.

Без Бога мы чувствуем себя сиротливо и создаем себе кумира в виде научно-технического прогресса. Но что может объяснить научно-технический прогресс, когда новенький «бьюик» (Нат Зипский, мой хороший приятель, не поездил на нем и трех дней) влетает в витрину ресторана «Телячья нежность» и посетители едва успевают броситься врассыпную? За четыре года мой тостер ни разу не сработал как следует. Я действую точно по инструкции, закладывая ровно два ломтика хлеба, и через секунду он выстреливает их обратно. Как-то раз таким выстрелом сломало нос одной дорогой мне женщине. И мы надеемся, что гайки, болты и электричество решат все проблемы?

Конечно, телефон — дело хорошее. Да и холодильник. И кондиционер. Но не всякий. Явно не тот, что купила моя сестренка Ханна. Он работает с диким грохотом, но прохлады не приносит. Вызвали мастера. Стало хуже. «Ну, на нет и суда нет, — сказал мастер. — Не нравится — покупайте новый». Сестра стала упрашивать, но мастер попросил не действовать ему на нервы. Этот человек, очевидно, некоммуникабелен. К тому же он все время улыбался. Беда в том, что нас не подготовили к жизни в технократическом обществе. Что поделаешь, политики либо некомпетентны, либо продажны. Иногда и то и другое вместе. Государству нет дела до нужд маленького человека. Уже в пять минут седьмого бесполезно звонить в Конгресс своему депутату. Не отрицаю, демократия пока остается наилучшей формой общественного устройства. В демократическом государстве, по крайней мере, охраняются права человека. Никто не вправе без веских оснований подвергнуть гражданина пыткам, бросить в тюрьму или заставить досмотреть некоторые бродвейские шоу. По сравнению с

²¹ *Мигель де Унамуно* (1864–1936) — испанский писатель, философ, общественный деятель.

²² *Жак Люсьен Моно* (1910–1976) — французский биохимик, микробиолог, генетик, директор Пастеровского института в Париже. Лауреат Нобелевской премии (1976).

тем, что творится в Советском Союзе, это — небо и земля, конечно.

В тоталитарном государстве человека могут приговорить к тридцати годам исправительно-трудовых работ только за то, что он насвистывал. Если через пятнадцать лет он не перестает свистеть, его расстреливают. Плечом к плечу с варварством фашизма шествует по планете терроризм. Никогда за всю историю человек так не боялся включить электромясорубку: а вдруг она взорвется?

Насилие порождает насилие, и, по некоторым прогнозам, вскоре доминирующей формой общественных отношений станет взаимное похищение детей. Перенаселение накалит все проблемы до предела. Цифры свидетельствуют, что уже сейчас на Земле живет гораздо больше народу, чем нужно, чтобы перенести самый тяжелый рояль. Если призыв прекратить размножение не будет услышан, к двухтысячному году негде будет сесть пообедать — придется ставить стол на голову незнакомым людям, и они будут вынуждены неподвижно ждать, пока мы закончим с компотом. Неизбежно разразится энергетический кризис: автовладельцам будут отпускать бензина ровно столько, чтобы сдать назад на полметра.

Но мы не желаем принять вызов, предпочитая одурманиваться наркотиками и сексом. В своем либерализме общество зашло недопустимо далеко. Когда еще так расцвела порнография? И вечно попадается третья-четвертая копия, на экране ничего не разберешь. Надо признать: у нас нет ясных целей. Мы так и не научились любить. Нам не хватает лидеров и четких программ. Мы разобщены духовно. В полном одиночестве мы проносимся по жизни, срывая друг на друге свое отчаянье и боль.

К счастью, мы пока еще не утратили чувства меры. Таким образом, подводя итоги, можно с уверенностью сказать: будущее сулит нам огромные возможности. Но также таит западни. Надо умудриться не попасть в западню, не упустить возможностей и вернуться домой часам к шести.

Диета



Однажды без видимых причин Ф. нарушил диету. Это случилось в обеденный перерыв, в кафе. Накануне вечером ему вдруг позвонил начальник отдела Шнабель и предложил вместе пообедать.

— Есть разговор, — сказал Шнабель. Но о чем именно — не сказал. — Надо бы кое-что обсудить. Прийти к какому-то решению. Ну да это не к спеху. Можно и в другой раз.

Ф. охватила такая тревога, вызванная тоном Шнабеля и самим фактом вечернего звонка, что ему захотелось встретиться с шефом безотлагательно.

— Давайте пообедаем прямо сейчас, — предложил он.

— Сейчас? Уже почти двенадцать, — удивился Шнабель.

— Ах, ну да. И отлично, — сказал Ф., — отлично, тогда прямо завтра непременно пойдем в ресторан.

— Чуть! — отрезал Шнабель. — Это вовсе не обязательно. Говорю же, нет никакой спешки.

И повесил трубку.

Ф. почувствовал, что ему не хватает воздуха. «Что я наделал! — подумал он. — Выставить себя таким болваном перед Шнабелем! В понедельник об этом будут знать все. Второй раз за месяц попадаю в идиотское положение». Не так давно Ф. застигли в копировальной, когда он копировал походку цапли. Но на самом деле предлог и не требовался, в отделе над ним посмеивались постоянно. Иногда, внезапно обернувшись, он видел перед собой тридцать — сорок высунутых языков.

Работа представлялась ему сушим адом. Начать с того, что его стол стоял в глубине

комнаты, далеко от окна; и даже тот воздух, который проникал в их мрачную контору, проходил через десятки легких, прежде чем Ф. мог вдохнуть его. По утрам пробираясь на свое место, Ф. чувствовал недружелюбные взгляды, устремленные из-за гробов. Он явно никому не нравился. Как-то раз некто Трауб, мелкий чиновник, учтиво кивнул ему. Но когда Ф. поклонился в ответ, лицемер швырнул в него яблоком. Этого Трауба недавно повысили. Он занял место, которое обещали Ф., и получил новый стул. У Ф. не было стула. Его стул украли много лет назад, и при существующей бюрократии нечего было и мечтать о новом. Поэтому Ф. работал стоя. День за днем, ссутулившись над пишущей машинкой, он спиной чувствовал, как сослуживцы потешаются над ним. Когда стул украли и он попросил выдать новый, Шнабель ответил: «К сожалению, ничем не могу помочь, вам придется самому попросить об этом господина министра».

«Да-да, разумеется», — понимающе кивнул Ф. и записался на высочайший прием. Но в назначенный день его не приняли. «Господин министр занят, — сообщил секретарь. — Открылись некоторые обстоятельства, и он никого не принимает». Много недель подряд Ф. снова и снова пытался попасть к министру, но безуспешно.

— Мне нужен стул, больше ничего, — объяснял он отцу. — Я вовсе не боюсь сутулости, просто, когда хочешь немного передохнуть и кладешь ноги на стол, тут же падаешь.

— Ничтожество, — с презрением процедил отец. — Если бы тебя ценили, ты бы давно сидел.

— Как ты не понимаешь! — воскликнул Ф. — Мне только надо поговорить с господином министром. Но он очень занят. Я несколько раз заглядывал к нему в окно и видел, что он разучивает чарльстон.

— Станет министр с тобой разговаривать! — усмехнулся отец, наливая себе хересу. — У него нет времени на жалких неудачников. Между прочим, я слышал, что Рихтер теперь сидит на двух стульях. Один рабочий, а другой так, для забав.

Рихтер! Этот тупой зануда, у которого долгие годы был роман с женой бургомистра, пока она об этом не узнала! Раньше он служил в банке. Однажды обнаружилась недостача, и Рихтера обвинили в растрате, но потом выяснилось, что он эти деньги съел. «Пахнут хорошо, а на вкус так себе, правда?» — сказал он следователю как ни в чем не бывало. Его вышвырнули из банка, а вскоре взяли в контору, где служил Ф. Здесь, узнав, что у Рихтера беглый французский, ему доверили всю парижскую бухгалтерию. Через пять лет выяснилось, что он не знает по-французски ни слова, а просто несет ахиною, грассируя и гундося. Был скандал, но Рихтер умудрился вернуть себе расположение начальства. Он убедил всех, что можно удвоить доходы, если просто отпереть парадную дверь и разрешить клиентам заходить внутрь.

— Молодчина Рихтер! — сказал отец Ф. — Такой не пропадет. А ты будешь вечно ныть и пресмыкаться, как склизкий червяк, пока тебя наконец не раздавят.

Ф. поблагодарил отца на добром слове, а вечером почувствовал беспричинную подавленность. Он решил, что надо бы сесть на диету и привести себя в порядок. Не то чтобы Ф. раздобрел; но по многочисленным намекам было понятно, что в некоторых кругах его могут считать чересчур осанистым. «Отец прав, — подумал Ф. — Я в самом деле мерзкая тварь. Гнусное насекомое. Неудивительно, что Шнабель пшикнул в меня „Рэйдом“, едва я заговорил о прибавке! Жалкий червяк, мерзкий перед миром и людьми. Меня надо раздавить или бросить на растерзание шакалам. Я должен жить под кроватью, в пыли, у плинтуса, а лучше — выколоть себе бесстыжие глаза. Решено, завтра сажусь на диету».

Ночью ему снились радостные сны. Он был худым и стройным и легко влезал в смелые новенькие слаксы, какие могут позволить себе только мужчины особого сорта. Ему снилось, что он с дивным проворством играет в теннис и кружится в танце с фотомоделями на модной вечеринке. И наконец, он степенно шел по фондовой бирже под арию тореадора, совершенно голый, и говорил: «А неплохо, да?» Наутро Ф. проснулся окрыленный и почти месяц строго соблюдал диету. Сбросив семь кило, он не просто почувствовал себя лучше: ему даже

показалось, что судьба переменяла к нему отношение. Однажды секретарь уведомил:

— Сегодня господин министр примет вас.

От счастья Ф. едва не утратил дар речи. Его проводили в высочайший кабинет и представили.

— Я слышал, вы сидите на белковой, — сказал министр.

— Только постное мясо и салат, — отвечал Ф. — Иногда рогалик, но, само собой, никакого масла и вообще никаких жиров.

— Впечатляет, — сказал министр.

— Я не только стал внешне более привлекательным, но также существенно сократил риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

— Само собой, само собой. — В голосе министра послышалось нетерпение.

— Полагаю, теперь мне можно было бы поручить известные обязанности, — сказал Ф. — Разумеется, если я удержу вес.

— Подумаем, — ответил министр. — Подумаем. А как же кофе? — спросил он прищурившись. — Попролам со сливками?

— О нет. Две ложечки обезжиренного молока. Поверьте, господин министр, с некоторых пор я не ищу в еде удовольствия.

— Bravo, bravo. Ну что ж, мы еще побеседуем с вами.

В тот же вечер Ф. разорвал помолвку с фрау Шнайдер. Он написал ей, что после такого падения уровня триглицеридов в крови их мечтам не суждено сбыться. Он умолял понять и простить и обещал, что, если холестерин когда-нибудь поднимется выше ста девяноста, сразу же позвонит ей.

А потом случился тот обед со Шнабелем. Собственно, для Ф. — легкий второй завтрак: персик и творожок. На вопрос, зачем он все-таки приглашен в кафе, Шнабель снова ответил уклончиво:

— Просто неплохо бы обсудить возможные варианты.

— Варианты чего? — удивился Ф. Он в самом деле не знал, что и подумать. Быть может, о чем-то забыл?

— Да чего угодно. Нынче все так неопределенно... Честно говоря, я даже не помню, чего хотел.

— Понимаю. Понимаю, херр Шнабель, — сказал Ф. — Однако... мне кажется, вы что-то скрываете от меня.

— Чушь! Ничего я не скрываю. Возьмите-ка лучше пирожное.

— Благодарю, херр Шнабель. Видите ли, я сижу на диете.

— Правда? Ни ложечки сливок, ни маленького эклерчика? Давно?

— Уже несколько месяцев.

— И не хочется?

— Ну почему же... Мне, естественно, нравится завершать обед употреблением некоторого количества сладостей. Но дисциплина есть дисциплина, сами понимаете.

— Вы серьезно? — Шнабель взял эклер, облитый шоколадной глазурью, и откусил с чуть преувеличенным наслаждением. — Как жаль, что вы так строги к себе. Ведь жизнь коротка, дружище. Может, попробуете хотя бы кусочек?

С нехорошей улыбкой Шнабель протянул половинку пирожного на вилке.

Ф. почувствовал головокружение.

— Кусочек? — пробормотал он. — Только один кусочек, и всё? А завтра я смогу снова вернуться к диете?

— Ну, разумеется, разумеется, — сказал Шнабель. — Вы превосходно рассудили.

Ф. мог бы отказаться. Но он капитулировал.

— Официант, — голос его дрогнул, — еще эклер.

— Молодчина! — воскликнул Шнабель. — Вот это по-нашему. Надо быть как все. Может, будь вы в свое время поговорчивей, все вопросы, которые пришлось так долго утрясать, были бы давно улажены. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.

Официант принес эклер и, ставя тарелочку на стол, явно подмигнул Шнабелью. Нет, наверное, просто показалось. Ф. откусил приторного пирожного, потом еще раз и еще. Заварной шоколадный ужас медленно заполнял его.

— Роскошно, а? — Шнабель заговорщицки улыбнулся. — Но, само собой, много калорий. Очень много калорий.

— Да, — пробормотал Ф., чувствуя озноб и глядя в одну точку. — Много калорий. Это все отложится у меня на бедрах.

— Верно-верно, надо откладывать на черный день! — без улыбки сказал Шнабель.

Ф. тяжело дышал. Внезапно всем своим существом, каждой клеточкой он ощутил мучительное раскаяние. «Боже, что я наделал! — подумал он. — Я нарушил диету. Я съел пирожное, отлично зная последствия. Ведь завтра мне придется расставить пуговицы!»

— Что-нибудь не так? — спросил официант, улыбаясь дуэтом со Шнабелем.

— В самом деле, что случилось? — подхватил Шнабель. — У вас такой вид, будто вы совершили преступление.

— Давайте поговорим позже. Умоляю. Мне душно, мне надо выйти. Прошу вас, херр Шнабель, получите счет, я заплачу в следующий раз.

— О чем разговор, — кивнул Шнабель. — Встретимся в конторе. Между прочим, я слышал, вас хочет видеть господин министр. По поводу неких расходов.

— Расходов? Каких расходов? — спросил Ф.

— Честно говоря, я не в курсе. Ходили слухи. Ничего определенного. Говорят, наверху возникли вопросы. Но, само собой, это не к спеху, это терпит, доедайте спокойно, толстячок.

Ф. выскочил из-за стола и помчался домой не разбирая дороги. Он бросился в ноги отцу и заплакал.

— Папа, — проговорил он сквозь рыдания, — папа, я нарушил диету. Я не выдержал, я взял десерт. Прости меня. Пожалуйста, прости, умоляю.

Отец помолчал, а потом спокойно произнес:

— Я приговариваю тебя к смерти.

— Я знал, что ты поймешь, — сказал Ф. Они обнялись и в который раз дали себе слово проводить больше свободного времени на общественных работах.

История моего безумия



Безумие вещь относительная. Кто посмеет утверждать, что вполне нормален? И даже теперь, шатаюсь по Центральному парку в лохмотьях и марлевой маске, выкрикивая революционные призывы и истерически хохоча, я все не могу до конца поверить, что случившееся со мной не имеет никаких объяснений. Ведь я, любезный читатель, не родился городским сумасшедшим. Я не всегда замедлял шаг у мусорных ящиков, чтобы положить в хозяйственную сумку старый шнурочек, обрывок проволоки или пробку. О нет. Когда-то я был преуспевающим врачом, жил в верхней части Ист-Сайда, разъезжал в шоколадном «мерседесе» и был упакован в первоклассный твид от Ральфа Лорена. Завсегдатай театральных премьер, ресторана «Сарди»,²³ Линкольн-центра и хэмптонских кортов, я славился остроумием и непревзойденной подачей слева. Кто мог вообразить, что однажды доктор Осип Паркие перестанет бриться, наденет кепку с маленьким вентилятором, рюкзак и начнет кататься на роликах по Бродвею?

История, которая привела к этой катастрофе, была простой. Я сам сделал выбор. Я жил с чудесной женщиной — очаровательной, тонкой, образованной, настоящей умницей с

²³ «Сарди» — бродвейский ресторан, любимый «звездами».

прекрасным нравом и редким чувством юмора. Я был счастлив. Однако (в этом некого винить, кроме судьбы) она совершенно не волновала меня в постели. Поэтому с некоторых пор я стал каждый вечер ускользать из дому на тайные свидания с фотомodelью по имени Тиффани Шмидерер, чье умственное развитие заставляло кровь стынуть в жилах, но физическое совершенство заставляло вновь закипать. Каждая клетка ее тела источала неодолимую притягательность. Несомненно, вы, любезный читатель, слышали выражение «глаз не оторвать». Поверьте, тут глазами не ограничивалось. Кожа Тиффани Шмидерер была подобна шелку или, лучше сказать, нежнейшей семге в ресторане «Забар». Роскошная каштановая грива, бесконечные стройные ноги и такая фигура, что даже случайно коснуться ее — как ухнуть с американской горки. Не подумайте, что моя начитанная, да нет, по-настоящему глубокая Олив Чомски была безобразной горбуньей. Вовсе нет. При всех достоинствах обаятельной, остроумной, одухотворенной женщины, она была очень хороша собой, а в кровати, грубо говоря, — мастерица на все руки. Но беда заключалась в том, что при определенном освещении Олив необъяснимо напоминала тетю Ривку. Нет-нет, на самом деле они вовсе не были похожи — моя милая Олив и мамина сестра. Если кто был похож на тетю Ривку, так это небезызвестный Голем из еврейской притчи. Просто какое-то неуловимое сходство в выражении лица, что ли, и только если тень ложилась определенным образом. Может, и вправду существует пресловутое табу на кровосмешение. А может, женщина с обликом Тиффани Шмидерер появляется на свет раз в миллион лет — обычно как предвестие всемирного потопа или всемирного пожара. Не знаю. Но я ценил лучшее, что было в каждой из двух женщин, и уже не мог обходиться без них обеих.

Сначала я познакомился с Олив. Позади была длинная череда неудачных романов. Во всех моих прошлых подругах чего-то не хватало. Моя первая жена была великолепна, но лишена чувства юмора. Из братьев Маркс²⁴ самым смешным ей казался Зеппо. Вторая была хороша собой, но холодновата. Лишь единственный раз ночью мне вдруг показалось, что она пошевелилась под моими ласками. Но то был необъяснимый оптический эффект, через мгновение он прекратился. Шарон Флюг, с которой мы протянули три месяца, была слишком неуживчива. Уитни Вайсглас — слишком уступчива. Пиппа Мондейл, жизнерадостная разведенка, совершила роковую ошибку, не позволив мне выкинуть вон свечи в форме Лорела и Харди,²⁵ которые она купила. Из самых добрых побуждений друзья взялись устраивать мне бесчисленные свидания с незнакомками — как одна, сошедшими со страниц Лавкрафта.²⁶ Отчаявшись, я даже пробовал звонить по объявлениям в «Нью-Йоркском книжном обозрении», но это тоже было пустое дело. Поэтессе «слегка за тридцать» оказывалось сильно под шестьдесят, студентка, «поклонница Баха и „Беовульфа“»,²⁷ была вылитая медуза Горгона, а «бисексуалка из Бэй Эриа с видом на океан» сказала, что я не подхожу ей ни с какой стороны. Нет, конечно, случались приятные исключения, попадалась иногда настоящая красавица, толковая и душевная, с хорошими рекомендациями и приятными манерами. Но по какому-то вековечному закону (не то из Ветхого Завета, не то из египетской Книги мертвых), ей не подходил я. И не было на свете мужчины, меня несчастнее. Внешне совершенно благополучного, а в душе отчаянно мечтающего о настоящей любви.

²⁴ *Братья Маркс* (Гручо, Харпо, Чико, Гуммо, Зеппо) — прославленные американские комики (в 30-х гг.); Гуммо и Зеппо снимались гораздо реже трех других.

²⁵ *Лорел и Харди* — легендарный голливудский комический дуэт 30–40-х гг.

²⁶ *Говард Лавкрафт* (1890–1937) — американский писатель; работал в традициях «литературы ужасов».

²⁷ «*Беовульф*» — англосаксонская поэма VIII в., названная по имени героя.

По ночам от одиночества я размышлял о природе совершенства. Существует ли на свете нечто совершенное — кроме, конечно, тупости дяди Хаима? И кто я, собственно, такой, чтобы требовать от жизни совершенства? Я, ходячая выставка несовершенств! Я даже решил составить список своих недостатков, но не продвинулся дальше первого пункта: «иногда забывает шляпу».

Потом я принялся искать пример для подражания, образец «счастья в личной жизни». Вспомнил всех, кого знаю. Родители жили вместе уже сорок лет. Сорок лет — исключительно назло друг дружке. Гринглас, врач из нашей больницы, женился на женщине, похожей на кусок брынзы, потому что «это сама доброта». Айрис Мерман напропалую кокетничает с каждым мужчиной, который приходит голосовать на ее избирательный участок. Нет, всё не то. Я никогда не встречал пары, которую мог бы не лукавя назвать счастливой.

Вскоре начались ночные кошмары. Снилось, что я иду в бар для одиноких, на меня набрасывается свора бродячих секретарш и с ножом у горла заставляет расхваливать Квинс.²⁸ Психотерапевт советовал искать компромисс. Ребе советовал не волноваться. «Что ты имеешь против мадам Бронштейн? — сказал он. — Я не говорю, что она таки первая красotka, но кто еще так сумеет пронести пищу и пистолеты в гетто и обратно?»

Однажды я познакомился с актрисой, по ее словам, мечтавшей быть просто официанткой в кафе, и почти купился, но во время короткого совместного ужина она сто тридцать два раза сказала «как бы».

А потом как-то вечером после тяжелого дня в больнице я пошел послушать Стравинского и в антракте увидел Олив Чомски. Жизнь перевернулась.

Она знала наизусть Элиота,²⁹ играла в теннис и на фортепиано двухголосные инвенции Баха. Образованная, ироничная. Никогда не говорила «типа того», не носила вещей ради ярлычка от Гуччи-Шмуччи, не слушала популярную музыку и не смотрела ток-шоу. И притом всегда была готова испробовать самые невероятные способы и даже начинала сама. Как счастливы были мы с ней, пока мое сумасшедшее вожделье (достойное, полагаю, книги рекордов Гиннеса) не стало иссякать! Концерты, кино, ужины, выходные вдвоем, бесконечные разговоры обо всем на свете от Пого³⁰ до «Ригведы».³¹ И ни разу я не слышал от нее ни единой банальности. Нет, во всём самостоятельность, глубина. Остроумие! И, само собой, презрение к любой пошлости: политике, телевидению, косметическим подтяжкам лица, типовой архитектуре, мужчинам в тренировочных костюмах, киноклубам и людям, которые начинают предложение словами «на самом деле».

Будь проклят тот день, когда шальной луч света коснулся ее лица и вызвал к жизни черты тети Ривки. Боже мой, тети Ривки, самого воплощенья мировой скорби! И будь заодно проклят другой день, когда на богемной вечеринке в Сохо само воплощенье заветных мужских фантазий по имени (боже мой!) Тиффани Шмидерер, подтянув клетчатый шерстяной носок, обратилось ко мне голосом мультяшного мышонка.

— А кто ты по гороскопу? — спросила она, и я ощутил, как на моем лице вырастает шерсть и с неслышным рычанием рвутся наружу клыки питекантропа. В короткой, но содержательной беседе я рассказал Тиффани Шмидерер много интересного об астрологии и других, не менее значительных предметах — лозоходстве, филиппинских хилерах и снежном

²⁸ *Квинс* — окраинный район Нью-Йорка, почти половина его жителей — иммигранты.

²⁹ *Томас Стернз Элиот* (1888–1965) — англо-американский поэт и критик, лауреат Нобелевской премии (1948).

³⁰ *Пога* — опоссум, заглавный герой знаменитого комикса, любимого американскими интеллектуалами.

³¹ «*Ригведа*» — «Книга гимнов», древнейший памятник индийской литературы.

человеке.

Всего через несколько часов последний лепесток ее нижнего белья бесшумно скользнул на ковер, и, почувствовав, что сейчас расплаволюсь, я внезапно запел национальный гимн Нидерландов. То, что мы делали потом, не повторить никому и никогда, разве только воздушным акробатам под куполом цирка.

И началось.

Изобретение алиби для Олив. Вороватые свидания с Тиффани. Постоянное чувство вины перед женщиной, которую я люблю, но при этом трачу все силы бог весть на что. В сущности — на пустую неваляшку, от малейшего покачивания которой я терял голову, как на хорошей гильотине. Я предавал женщину своей мечты исключительно ради животной страсти вроде той, что обуревала Эмиля Яннингса в «Голубом ангеле».³² Один раз я сказался больным и попросил Олив сходить на Брамса с ее мамой, потому что обязан был смотреть по телику «Все в твоих руках» — идиотский каприз повелительницы моей страсти. Там, видите ли, сегодня будет Джонни Кэш.³³ Правда, покорно отсмотрев программу, я был по-царски вознагражден. Тиффани устроила в комнате полумрак и вознесла мое либидо на альфу Центавра. В другой раз я рассеянно сказал Олив, что иду за газетами, а сам стрелой пролетел семь кварталов до Тиффани, вскочил в лифт, и, на мою удачу, он застрял. Как загнанный ягуар, я метался по клетке, висевшей между этажами, не в силах ни утолить бешеную страсть, ни вернуться домой в правдоподобный срок. Освобожденный наконец какими-то пожарниками, я на обратном пути лихорадочно сочинял невообразимую историю с участием двух грабителей и лох-несского чудовища.

Но мне повезло: когда я вернулся, Олив уже спала. При своей врожденной порядочности она не могла даже помыслить, что я способен изменить ей, и, хотя мы бывали близки все реже и реже, я старался экономить силы, чтобы хоть отчасти удовлетворять и ее. Но чаще, проклиная себя, нес что-то про усталость, про трудный день, и она верила мне с простодушием ангела. Шли месяцы, и положение становилось невыносимым. Я все больше напоминал персонажа картины Мунка «Крик».

Вставшая передо мной дилемма была поистине ужасна, любезный читатель! Предполагаю, впрочем, что она сводит с ума многих моих современников. Невозможно обрести все, что хочешь, в единственном существе противоположного пола. Что же делать? По одну сторону — зияющая пропасть смирения. По другую — презренная низость измены. А может, все-таки правы французы? — может, идеальный вариант — иметь жену и любовницу, разделив свои потребности между ними? Зная Олив, я не сомневался, что при первой попытке предложить такой расклад она заколет меня своим изящным зонтиком. И опускал руки, все глубже погружался в отчаяние и подумывал о самоубийстве. Я даже приставил дуло к виску, но в последнее мгновение дрогнул и выпалил в воздух. Пуля прошла сквозь потолок, и мнительная миссис Фигельсон из квартиры над нами провела пасхальные каникулы на крыше книжного шкафа.

Но однажды ночью случилось чудо. Внезапно с удивительной ясностью, какую обычно приписывают воздействию ЛСД, я понял, что надо делать. Накануне вечером мы с Олив были на премьере восстановленного фильма с Белой Лугоши. В решающей сцене Лугоши, который играет безумного ученого, при вспышках молний соединяет мозг несчастной жертвы, привязанной к операционному столу, с мозгом гориллы, лежащей рядом. Если киносценаристу под силу такое выдумать, подумал я, то уж конечно хирург моего уровня способен осуществить подобную операцию во плоти.

³² «Голубой ангел» — фильм немецкого режиссера И. фон Штернберга с Эмилем Яннингсом и Марлен Дитрих в главных ролях (1930).

³³ Джонни Кэш (р. 1932) — популярный американский певец, обладатель десяти премий «Грэмми».

Не стану утомлять вас техническими подробностями, непрофессионалу их все равно сложно понять. Скажу просто, что через некоторое время грозовой ночью на Пятой авеню появилась таинственная фигура в сопровождении двух женщин, нетвердо державшихся на ногах. Очертания одной из спутниц заставляли редких водителей въезжать на тротуар. Троица скользнула в темное здание больницы «Флауэр», давно закрытой на ремонт. Там, в заброшенной операционной, при вспышках молний, с треском кроивших мрак, неизвестный провел операцию, которая до него делалась только в мире целлулоидных грез и была по силам лишь одному хирургу — венгерскому актеру, превратившему полную муру в жанр искусства.

И что же? Тиффани Шмидерер, поселившаяся отныне в не столь совершенном теле Олив Чомски, почувствовала восхитительную свободу: она словно избавилась от проклятья, перестав быть постоянным объектом мужского вождения. Как и предсказывал Дарвин, вскоре у Тиффани развился разум: пускай не такой, как у Ханны Арендт,³⁴ но позволивший ей понять ограниченность астрологии и удачно выйти замуж. А перед по-прежнему блистательной Олив Чомски открылся теперь весь мир, она стала моей женой, а я стал объектом всеобщей зависти. И мы познали блаженство, о каком можно прочесть только в «Тысяче и одной ночи».

Всё бы хорошо; но через несколько месяцев я почему-то утратил интерес к этой идеальной женщине и неожиданно втрескался в стюардессу по имени Билли Джин Запрудер. Ее мальчишеская фигура и алабамский говор сводили меня с ума. Вот тогда я и уволился из больницы, надел кепку с пропеллером, рюкзак — и покатил на роликах вниз по Бродвею.

Города и люди Путевые заметки



Бруклин. Улицы, окаймленные деревьями. Красавец мост. На каждом шагу церкви и кладбища. И кондитерские. Малыш переводит бородатого старика через дорогу и желает «доброй Субботы». Старикан улыбается и выбивает трубку малышу об голову. Тот с ревом бежит домой... Становится душно и сыро. После обеда многие выходят на улицу с раскладными стульчиками — посидеть, поболтать. Внезапно начинается снегопад. Общее замешательство. Идет торговец крендельками, предлагая свой товар. Собаки бросаются на него, он пытается спастись на дереве. Не повезло: на дереве еще больше собак.

«Бенни! Бенни!» Мама зовет сына домой. Бенни всего шестнадцать, но у него уже есть привод. В двадцать шесть он сядет на электрический стул. В тридцать шесть его повесят. К пятидесяти будет хозяином химчистки. А пока что мама готовит ему завтрак, и, поскольку семья бедна и не может позволить себе свежие рогалики, Бенни мажет мармелад на вчерашнюю «Ньюс».

Стадион Эббетс Филд. Болельщики заполнили соседнюю Бедфорд-авеню в надежде поймать залетный мячик. После восьми безрезультатных подач толпа разочарованно ревет. Наконец мяч вылетает из-за стены, и начинается потасовка. Почему-то мяч не бейсбольный, а футбольный. Никто не понимает почему. В этом же сезоне хозяин бруклинских «Доджеров» обменяет кетчера³⁵ на питчера³⁶ из Питтсбурга, а потом самого себя на

³⁴ Ханна Арендт (1906–1975) — крупный американский философ и искусствовед.

³⁵ Кетчер — в бейсболе: тот, кто ловит мяч.

³⁶ Питчер — тот, кто подает мяч бьющему.

хозяина бостонских «Смельчаков» и двух его отпрысков.

Залив Шитсхед. Рыбак с мужественным лицом жизнерадостно смеется и вытягивает сетку с крабами. Огромный краб хватается за нос. Рыбак больше не смеется. Товарищи тащат его к себе, товарищи краба — к себе. Силы равны. Садится солнце. Схватка продолжается.

Новый Орлеан. На кладбище в дождь. Кого-то хоронят под скорбные псалмы джаз-оркестра. Затем музыканты врезают зажигательный марш и строем возвращаются в город. На полпути кто-то понимает, что похоронили не того человека. В сущности, совершенно чужого. Собственно, он и не был мертв. Он даже не был болен. То-то он все время насвистывал. Музыканты возвращаются на кладбище и раскапывают бедолагу, который грозит подать в суд, хотя ему обещают оплатить чистку костюма — пусть пришлет квитанцию. Меж тем непонятно, кто все-таки умер. Под музыку по очереди хоронят зевак, решив, что, кто ляжет в могилу без разговоров, тот и покойник. Наконец становится ясно, что здесь никто не умер, а искать тело уже бесполезно, поскольку начался праздник.

Сегодня Марди Грас.³⁷ Повсюду креольские угощения. Толпы в карнавальных костюмах заполнили улицы. Человека, нарядившегося креветкой, бросают в кипящий котел с раковым супом. Он протестует, но никто не верит, что он не рак. Наконец он догадывается предъявить водительские права, и его отпускают.

В сквере Борегара кишат туристы. Когда-то Мари Лаво³⁸ практиковала здесь вуду,³⁹ а теперь старый гаитянский шаман продает талисманы и амулеты. Полицейский предлагает ему пройти в участок, вспыхивает спор. Когда он гаснет, полицейский оказывается на полтора метра ниже ростом. Рассердившись, он пытается арестовать заклинателя, но говорит таким писклявым голосом, что ничего нельзя разобрать. Затем кошка переходит дорогу, и полицейский в ужасе пускается наутек.

Париж. Мокрые тротуары. И огни, повсюду огни! В уличном кафе сталкиваюсь с каким-то человеком. Это Андре Мальро. Но почему-то он считает, что Андре Мальро — это я. Объясняю, что Мальро — он, а я просто студент. Он успокаивается: ему было страшно подумать, что его любимая мадам Мальро теперь моя жена. Мы беседуем о высоких материях, Мальро говорит, что человек — хозяин своей судьбы и только поняв, что смерть — это часть жизни, можно по-настоящему постичь смысл бытия. Потом предлагает купить у него кроличью лапку. Через много лет мы снова встречаемся за одним столом, и он снова уверяет, что Мальро — это я. Теперь я соглашаюсь и съедаю его фруктовый салат.

Осень. Париж парализован очередной забастовкой. На этот раз бастуют акробаты. Нигде никто не кувырывается, и город словно замер. Вскоре к забастовке присоединяются жонглеры, затем чревовещатели. Парижане без них не могут. Студенчество волнуется. Двух алжирцев, попытавшихся стоять на голове, обрили наголо.

Десятилетняя зеленоглазая шатенка с длинными вьющимися волосами заложила взрывчатку в шоколадный мусс министра внутренних дел. После первой ложечки тот пробивает головой крышу «Ле Фуке»⁴⁰ и приземляется в «Чреве Парижа»⁴¹ живым и

³⁷ *Марди Грас* (Толстый вторник) — самый большой в Америке карнавал. Проходит в Новом Орлеане с 1699 г. Длится два месяца и достигает апогея в последний вторник перед Великим постом.

³⁸ *Мари Лаво* (1794? — 1881) — самая знаменитая «королева» вуду в Северной Америке.

³⁹ *Вуду* — религия, привезенная в Америку африканскими рабами. Стала народной религией Гаити, оказала большое влияние на культуру Нового Орлеана. В основе ритуалов вуду — вызывание богов и духов, которые вселяются в шамана. Верующие могут получить от них защиту, исцеление или предсказание.

⁴⁰ «*Ле Фуке*» — прославленный ресторан на Елисейских полях. Открыт в 1899 г.

невредимым. «Чрева» больше нет.

На машине через Мехико. Чудовищная нищета. Грибницы сомбреро вызывают в памяти фрески Ороско.⁴² В тени жара под сорок. Нищий индус продает энчиладу с копченой свиной. Довольно вкусно. Запиваю ледяной водой и вскоре чувствую тошноту. Потом начинаю говорить по-немецки. Внезапная вкрадчивая боль в животе заставляет умолкнуть на полуслове, как будто захлопнули книгу. Через полгода прихожу в сознание в тамошней больнице, совершенно лысый и с футбольным кубком в руках. Самое страшное позади; рассказывают, что я был на волосок от смерти и в горячечном бреде заказал два костюма из Гонконга.

Со мной в палате лежит множество чудесных крестьян, с некоторыми мы потом крепко подружимся. Вот, например, Альфонсо. Мама хотела, чтобы он стал матадором. Он стал, и его забодал бык. Чуть позже его забодала и мама. А вот Хуан, скромный свиновод, он не знает грамоты, но сумел надуть Министерство по налогам и сборам на шесть миллионов долларов. Или еще папаша Эрнандес, долгие годы шагавший плечом к плечу с Сапатою,⁴³ пока великий революционер не посадил его, чтоб не толкал под локоть.

Дождь. Шесть дней проливной дождь. Потом туман. Мы сидим в лондонском пабе с Сомерсетом Моэмом. Я опечален: мой первый роман, «Большая рвота», критики встретили прохладно. Единственный благосклонный отзыв в «Таймс» испорчен последней фразой: «Этот опус — самое мерзкое собрание самых идиотских общих мест во всей западной литературе».

Моэм считает, что эту фразу можно понимать по-разному, но все-таки в рекламе ее использовать не стоит. Потом мы шагаем по старой бромптонской дороге, и снова начинается дождь. Я предлагаю Моэму зонтик, и он берет, хотя уже раскрыл свой. Теперь он идет под двумя зонтами, а я плетусь позади.

— Не надо так серьезно относиться к критике, — говорит он. — Мой первый рассказ один критик разнес в пух и прах. Я обиделся и долго сочинял в уме язвительный ответ. А потом однажды перечитал рассказик и понял, что он был прав. Вещь в самом деле пустая и плохо сделана. Я навсегда запомнил этот урок, и много лет спустя, когда Люфтваффе бомбила Лондон, посветил на дом того критика.

Моэм прерывается, чтобы купить и открыть над собою третий зонт.

— Чтобы стать писателем, — продолжает он, — надо рисковать и не бояться выглядеть дураком. Я писал «Лезвие бритвы» с газетной пилоткой на голове. В первом варианте «Дождя» Сейди Томпсон была попугаем. Мы идем на ощупь. Мы рискуем. Когда я взялся за «Бремя страстей человеческих», у меня был только союз «и». Я чувствовал, что история, в которой будет «и», должна получиться. И постепенно прояснилось всё остальное.

Порыв ветра сбивает Моэма с ног и швыряет о стену дома. Он радостно смеется, а потом дает мне один из величайших советов, какие когда-либо получал начинающий писатель: «В конце вопросительного предложения ставьте вопросительный знак. Эффект превзойдет ожидания».

Наше подлое время

⁴¹ «Чрево Парижа» — знаменитый центральный рынок Парижа. Больше не существует.

⁴² *Хосе Клементе Ороско* (1883–1949) — мексиканский живописец, один из основателей национальной школы монументальной живописи.

⁴³ *Эмилиано Сапата* (1879–1919) — легендарный мексиканский разбойник и революционер.



Да, признаю. Это я, Виллард Погребин, некогда тихий, подававший надежды мальчик, стрелял в Президента Соединенных Штатов Америки. К счастью, кто-то в толпе зевая толкнул меня под руку. Пуля срикошетила от вывески «Макдональдса» и застряла в копченой сардельке в «Сосисочной империи Химмельштайна». После короткой потасовки агенты ФБР затащили у меня на шею пару морских узлов, и я был отправлен на психиатрическую экспертизу.

Вы спросите: как же такое могло случиться? Как дошел до этого человек, далекий от политики, с детства мечтавший самое большее покорить мир исполнением Мендельсона на виолончели или в крайнем случае каскадом блистательных антраша? Что ж, я попробую ответить. Все началось два года тому назад. Меня как раз комиссовали из армии после серии научных экспериментов, поставленных надо мной без моего ведома. Нас, нескольких новобранцев, кормили жареными цыплятами, маринованными в лизергиновой кислоте. Требовалось установить, сколько ЛСД способен переварить человек, прежде чем попытается взмыть в облака над Центром международной торговли. Пентагон вообще уделяет серьезное внимание разработкам новейших видов вооружения. Так, неделей раньше в меня метали стрелки для дартса, кончик которых был смочен особым веществом. Оно подействовало, и у меня сделался голос, как у Сальвадора Дали. Вид тоже. Однако кумулятивный побочный эффект экспериментов сказался на восприятии, и когда я больше не мог отличить своего брата Мориса от пары яиц всмятку, меня отправили в госпиталь и комиссовали.

Лечение электрошоком в отделении бихевиоральной психотерапии подействовало в целом благотворно, правда, там перепутали провода, и мы с несколькими шимпанзе сыграли перед пациентами «Вишневый сад» на превосходном английском. Когда меня выпустили, я чувствовал себя надломленным и совершенно одиноким. Решил двинуть автостопом на Запад. Меня подхватили двое ребят из Калифорнии: молодой человек с бородой, как у Распутина, и девушка с бородой, как у Свенгали.⁴⁴ У обоих была сильная харизма. Ребята сказали, что меня им послал Бог, потому что как раз сейчас они переписывают Каббалу на новый свиток и у них закончилась кровь. Я стал объяснять, что вообще-то собрался в Голливуд, надеюсь найти приличную работу, но парализующий взгляд плюс нож размером с весло убедили меня в благородстве их намерений. Мы приехали на заброшенное ранчо, где несколько глубоко зомбированных девушек насильно кормили меня продуктами естественного происхождения и попытались выжечь паяльником пентаграмму на лбу. Потом я был свидетелем черной мессы: молодые люди в капюшонах пели на латыни «Оу, вау!». Потом мне давали пейотль, кокаин и белый порошок, полученный из вареного кактуса, отчего в голове начался ураган и дальнейшее помню смутно. Вероятно, рассудок был поврежден. Как еще объяснить, что через два месяца меня арестовали в Беверли-Хиллс за попытку растления креветки?

Выйдя из участка, я мечтал побыть в одиночестве, успокоиться, чтобы спасти остатки пошатнувшегося рассудка. Но то и дело на улицах ко мне приставали улыбчивые последователи преподобного Ли Бо Цзиня, обещавшие быстрое и окончательное спасение. Этот луноликий мудрец соединил учение Лао-Цзы с философией Роберта Веско.⁴⁵ У него была сильная харизма. Отказавшись от всех земных благ и оставив себе не больше, чем было у Чарльза Фостера Кейна,⁴⁶ преподобный Цзинь полностью посвятил жизнь духовному

⁴⁴ *Свенгали* — герой романа Джорджа Дюморье «Трилби» (1894), гипнотизер.

⁴⁵ *Роберт Веско* — крупнейший международный аферист XX в. В настоящее время отбывает тюремный срок на Кубе.

⁴⁶ *Чарльз Фостер Кейн* — мультимиллионер, главный герой фильма О. Уэллса «Гражданин Кейн».

служению и достижению двух скромных целей. Во-первых, он хотел воспитать в учениках любовь к молитве, посту и ближнему, а во-вторых, послать их в крестовый поход против стран — членов НАТО. Я побывал на нескольких его проповедях и заметил, что преподобный требует от паствы рабского подчинения, а всякое ослабление религиозного трепета встречает высоко поднятыми бровями. Я высказал предположение, что, в сущности, гуру одержим манией величия и пытается превратить учеников в безропотных роботов. Это сочли ересью, и несколько помощников преподобного — по виду бывших сумоистов — быстро препроводили меня за нос в святилище, где предложили до конца месяца переосмыслить свою позицию, не отвлекаясь на еду и питье. Чтобы я полнее ощутил братское осуждение, ритуальный молот регулярно бил меня по голове. Забавно: я не свихнулся только потому, что все время повторял мою личную мантру: бац-драц! Но недели через две все-таки не выдержал, и начались галлюцинации. Помню, видел, как Франкенштейн идет на лыжах по Ковент-Гардене и ест гамбургер.

Через месяц я очнулся на больничной койке в неплохой форме, с парой синяков и твердым убеждением, что я — композитор Стравинский. Мне рассказали, что какой-то пятнадцатилетний махариши подал в суд на преподобного Цзиня. Юноша утверждал, что истинным богом является он сам и, следовательно, имеет право бесплатно ходить в кинотеатр «Орфей». Точку в их споре поставил особый отдел ФБР, вскоре задержавший обоих гуру на границе при попытке бегства в Нирвану (Мексика).

К тому времени я уже вышел из больницы — полностью восстановившись, но обретая душевное равновесие Калигулы. В надежде поправить психику я записался на так называемую эготерапию Перельмутера (ЭТП). Ее основатель, Густав Перельмутер, человек с сильной харизмой, долгое время был боп-саксофонистом и психотерапией занялся уже в зрелом возрасте. Однако его методика сразу привлекла многочисленных кинозвезд. Они утверждали, что терапия Перельмутера изменила их еще быстрее и глубже, чем еженедельные астрологические прогнозы в «Космополитен».

Вместе с группой невротиков, потерявших веру в традиционную медицину, меня вывезли на живописный курорт. Наверное, следовало насторожиться при виде колючей проволоки и овчарок, но ассистенты Перельмутера объяснили, что эти вопли за забором называются примальными. Нас посадили на жесткие табуретки, и в течение трех суток Перельмутер читал вслух отрывки из «Майн кампф». Перерывов не делалось, и постепенно мы утратили способность к сопротивлению. Но тем не менее стало ясно, что доктор Перельмутер — законченный шизофреник, а вся его терапия заключается в периодическом восклицании «веселей, друзья!».

Те, кто прозрел раньше, попытались бежать, но, увы, обнаружили, что заборы под током. Хотя Перельмутер называл себя врачом душ, я слышал, что ему то и дело звонит Ясир Арафат, и если бы в конце концов на территорию не ворвались люди Шимона Визенталя,⁴⁷ кто знает, чем бы дело кончилось.

После этого, окончательно утратив душевный покой и веру в людей, я переехал в Сан-Франциско. Надо было как-то существовать, но что я мог делать? Устроился провокатором в Беркли, мучил студенчество и писал доносы в ФБР. За несколько месяцев работы я продал и перепродал множество бесценной информации, главным образом о тайных планах ЦРУ (разведка собиралась проверить бдительность жителей Нью-Йорка, бросив цианистый калий в городской водопровод). Кроме того, занимался техникой речи с актерами на съемках малобюджетного порнофильма. А что делать? — так я хотя бы сводил концы с концами. Ну, а потом однажды вечером пошел вынести мусор, из тени бесшумно появились двое, надели

прототипом которого послужил богатейший издатель У. Херст.

⁴⁷ Шимон Визенталь (р. 1908) — выжив в Холокосте, посвятил жизнь розыску нацистских преступников и увековечению памяти погибших евреев.

на меня чехол для мебели, бросили в багажник и увезли. Помню, почувствовал укол и, теряя сознание, слышал, что я, по их мнению, тяжелее Патти,⁴⁸ но легче Хоффы.⁴⁹

Очнулся я в темном чулане и в течение трех следующих недель подвергался строгой сенсорной депривации. А затем несколько специалистов принялись меня щекотать, а двое в штатском пели кантри и баллады Дикого Запада, пока я не согласился сделать все, что велят. После стольких испытаний не поручусь, что случившееся потом было на самом деле, но меня доставили в кабинет к Президенту Соединенных Штатов. Джеральд Форд пожал мне руку и спросил, не соглашусь ли я поехать с ним по стране и время от времени посовещаться на него покушения — разумеется неудачные. Президент объяснил, что это поможет ему продемонстрировать избирателям свою храбрость и отвлечет от серьезных проблем, которые он не в силах решить. В моем состоянии я был готов на всё.

Через два дня и произошло покушение напротив «Сосисочной империи Химмельштайна».

Огромный шаг для всего человечества



Вчера, обедая курицей под гнойным соусом — это фирменное блюдо в моем любимом ресторане в Среднем Манхэттене, — я был вынужден слушать возмущенные речи своего приятеля-драматурга, не согласного с рецензиями на его последний опус, звучащими как выдержки из тибетской Книги мертвых. Жадно уплетая овощную котлету, Мозес Голдуорм проводил сомнительные параллели между своими диалогами и диалогами Софокла и с пылкостью Кэрри Нейшн⁵⁰ негодовал на нью-йоркских театральных критиков. Я, разумеется, мог лишь сочувственно внимать другу и заверять его, что слова «драматург без малейшей искры таланта» можно истолковывать по-разному. И вдруг — как же ничтожна та доля секунды, за которую безмятежность сменяется бедламом! — несостоявшийся Пинеро⁵¹ осекся на полуслове и привстал со стула. Он бешено замахал руками, схватился за горло, и лицо бедняги приобрело тот оттенок голубизны, что неизменно ассоциируется с картинами Томаса Гейнсборо.

— Господи, что это с ним?! — воскликнул кто-то из посетителей, когда на пол со звоном упали вилка и нож и все головы повернулись в нашу сторону.

— Коронаротромбоз! — завопил официант.

— Нет, скорей эпилептический припадок, — возразил мужчина за соседним столиком.

Голдуорм всё силился с чем-то справиться, всё размахивал руками, но слабее и слабее, так сказать, диминуэндо. Потом под возгласы встревоженных доброжелателей, которые истерическим фальцетом наперебой выкрикивали взаимоисключающие рекомендации, драматург рухнул как подкошенный, подтверждая, казалось бы, диагноз официанта. Он беспомощно лежал на полу, и не верилось, что у Голдуорма есть шанс дожить до прибытия

⁴⁸ *Патти Херст* — дочь американского миллионера Р. Херста, похищенная террористами в 1974 г. Теперь актриса.

⁴⁹ *Джимми Хоффа* — легендарный лидер американского профсоюза водителей грузовиков. Выйдя в 1975 г. из тюрьмы, бесследно исчез.

⁵⁰ *Кэрри Нейшн* (1846–1911) — американская общественная деятельница, фанатичная поборница трезвости.

⁵¹ *Артур Уинг Пинеро* (1855–1934) — чрезвычайно плодовитый английский драматург.

«скорой», — но тут на авансцену с холодной уверенностью астронавта вышел высокий незнакомец. Вышел и произнес театральным тоном:

— Положитесь на меня, друзья. Никакого врача не нужно — это не сердце. А то, что он схватился за горло, — это универсальный для всех уголков земли признак того, что он подавился. Симптом может показаться типичным для сердечного приступа, но заверяю вас: этого человека спасет захват Хаймлиха!

После чего герой дня обхватил моего приятеля сзади и поднял в вертикальное положение. Приложив кулак к его животу чуть пониже грудины, он резко стиснул Голдуорма — и плотный кусок соевого творога, служившего гарниром, ракетой вылетел из трахеи пострадавшего и отскочил от вешалки для шляп. Драматург быстро пришел в себя и поблагодарил своего спасителя, который затем указал нам на висящий на стене плакат Совета по здравоохранению. Случившаяся только что драма была описана там абсолютно точно. Мы действительно увидели «универсальный признак», а также то, что пострадавший: 1) не может ни говорить, ни дышать; 2) синеет; 3) теряет сознание. За картинками на плакате шли четкие указания, как спасти человеку жизнь: надо резко надавить ему на живот — именно этому мы были свидетелями, как и последующему полету белковой субстанции, избавившему Голдуорма от неудобств и формальностей Долгого Прощания.

Несколько минут спустя, идя домой по Пятой авеню, я задумался: подозревает ли тот, чье имя сегодня прочно утвердилось в сознании народа как имя первооткрывателя чудодейственного приема, применение которого я только что видел воочию, — подозревает ли доктор Хаймлих, как близко подошли к тому, чтобы опередить его, трое донныне безвестных ученых, потративших месяцы на поиски средства от опасности, подстерегающей нас во время приема пищи? Знает ли он о существовании анонимного дневника одного из этой троицы пионеров-исследователей — дневника, доставшегося мне на аукционе по глупой ошибке: из-за сходства по весу и цвету с иллюстрированным томом «Рабыни гарема», на который я сделал пустячную ставку, равную моей зарплате за восемь недель? Ниже идут выдержки из этого дневника — я помещаю их здесь исключительно в интересах науки.

ТРЕТЬЕ ЯНВАРЯ.

Сегодня впервые встретился с двумя новыми коллегами и нахожу, что оба они очаровательны, хотя Вольфсхайм совсем не такой, каким я его представлял. Во-первых, он полнее, чем выглядит на фотографии (видимо, дал для публикации старую). Борода — средней длины, но растет как-то беспорядочно, дико, точно ползучий сорняк. Плюс густые, кустистые брови и — размером с микроба — глазки-пуговицы, которые подозрительно рыщут туда-сюда за линзами очков толщиной с пуленепробиваемое стекло. И в довершение всего — подергивания. Репертуар лицевых тиков и произвольных морганий у него столь же богат и сложен, как симфонические партитуры Стравинского. И тем не менее Абель Вольфсхайм — блестящий ученый, чьи труды, посвященные проблеме удушья за обеденным столом, сделали его мировой знаменитостью. Он был весьма польщен, что я знаком с его статьей «Случайные поперхивания», и признался мне, что моя теория врожденной предрасположенности к икоте, которую поначалу восприняли скептически, ныне завоевала всеобщее признание в Массачусетском технологическом институте.

Если Вольфсхайм выглядит необычно, то другая участница нашего триумvirата, напротив, в точности соответствует представлению, которое я вынес из чтения ее работ. Суламифь Арнольфени, чьи эксперименты с рекомбинантными ДНК позволили вывести мышшь-песчанку, способную петь *Let My People Go*, — британка до мозга костей: одета конечно же непритязательно, волосы туго-натуго стянуты в пучок, роговые очки посредине носа, напоминающего клюв. Вдобавок она страдает до того брызгучим дефектом речи, что быть рядом с ней, когда она произносит слово «секвестрация», все равно что находиться посреди муссонного ливня. Они оба мне нравятся, и я предвкушаю великие открытия.

ПЯТОЕ ЯНВАРЯ.

Дела идут не так гладко, как я рассчитывал: мы с Вольфсхаймом слегка разошлись во взглядах на методику. Я предложил вначале поэкспериментировать на мышах, но он считает такой подход неоправданно робким. Его идея — использовать заключенных, которые должны будут глотать не жуя большие куски мяса с пятисекундным интервалом. Только так, утверждает он, мы сумеем всесторонне исследовать проблему. Я возразил, указывая ему на нравственную сторону вопроса, и Вольфсхайм ошетинился. Я поинтересовался, почему он ставит науку выше морали, и не согласился с тем, что человека можно приравнять к хомяку. Я не мог разделить и его Довольно-таки скоропалительное суждение обо мне как о «законченном идиоте». К счастью, Суламифь встала на мою сторону.

СЕДЬМОЕ ЯНВАРЯ.

Мы с Суламифью провели день весьма плодотворно. Работали с раннего утра до позднего вечера и добились-таки, чтобы мышья поперхнулась. Для этого мы смешали грызуна, одновременно скармливая ему большие куски сыра «Гауда». Пища, как мы и предполагали, в конце концов попала не в то горло, и животное подавилось. Крепко схватив мышку за хвост, я взмахнул ею, точно кнутиком, и застрявший сыр вылетел. Этот эксперимент мы с Суламифью подробно описали в лабораторном журнале. Если удастся применить такую методику к людям, перед нами, возможно, откроются некие горизонты. Впрочем, выводы делать рано.

ПЯТНАДЦАТОЕ ФЕВРАЛЯ.

Вольфсхайм разработал теорию и настаивает на ее проверке, однако я нахожу ее слишком примитивной. Он убежден, что человека, подавившегося едой, можно спасти — цитирую, — «дав ему глотнуть воды». Поначалу я думал, что он шутит, но страстность, которую он излучал, и дикий взгляд показывали: он всецело поглощен этой идеей. Ясное дело, обдумывая ее, он провел без сна не одну ночь, и в его лаборатории повсюду стояли налитые до разного уровня стаканы с водой. Когда я отозвался о его теории скептически, он обвинил меня в пораженчестве и задергался, как танцор диско. Он явно меня ненавидит.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ФЕВРАЛЯ.

Сегодня был выходной, и мы с Суламифью решили прокатиться за город. На свежем воздухе все, что связано с удушьем, показалось таким далеким! Суламифь рассказала мне, что была замужем за ученым, который проводил новаторские исследования радиоактивных изотопов; он бесследно растворился в воздухе посреди своего выступления перед сенатским комитетом. Мы с ней поделились личными предпочтениями и вкусами, и оказалось, что мы оба питаем слабость к одной и той же бактерии. Я спросил Суламифь, как бы она отнеслась к тому, чтобы я ее поцеловал. Она ответила: «Положительно», щедро обдав меня слюнной пылью. Я пришел к заключению, что она очень и очень красива, особенно если смотреть на нее через непроницаемый для рентгеновских лучей свинцовый экран.

ПЕРВОЕ МАРТА.

Теперь мне ясно: Вольфсхайм — сумасшедший. Он проверил свою «теорию стакана воды» десяток с лишним раз, и она не подтвердилась ни единожды. Когда я посоветовал ему перестать тратить дорогое время и транжирить деньги, он запустил мне в нос чашку Петри. Для защиты мне пришлось схватить и выставить перед собой бунзеновскую горелку. Вечная история: чем трудней становится работа, тем больше накапливается досады и раздражения.

ТРЕТЬЕ МАРТА.

За неимением испытуемых для наших опасных экспериментов мы были вынуждены обходить рестораны и кафетерии, чтобы, если нам улыбнется удача и кто-нибудь при нас попадет в тяжелое положение, быстро отреагировать. В закускойной «Сан-Суси» я отважился

поднять некую миссис Роуз Москович за щиколотки и потрясти, но, хотя мне удалось освободить ее от чудовищного комка каши, благодарности она не выказала. Вольфсхайм предложил хлопнуть подавившихся по спине, сославшись на то, что важными гипотезами на эту тему поделился с ним Ферми на симпозиуме по пищеварению в Цюрихе тридцать два года назад. Однако в гранте на их проверку было отказано: правительство предпочло финансировать ядерные исследования. Между прочим, Вольфсхайм тоже претендует на женскую благосклонность Суламифи: вчера в биологической лаборатории он признался ей в любви. Но, когда он попытался поцеловать ее, она стукнула его замороженной обезьяной. Он очень сложный, очень тяжелый человек.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА.

Сегодня случилось так, что некая миссис Гвидо Бертони в ресторане «Марчелло вилла» при нас подавилась чем-то, что позднее идентифицировали как либо каннелони,⁵² либо мячик для пинг-понга. Как я и предполагал, хлопанье по спине не помогло. Вольфсхайм, неспособный отказаться от своей теории, схватил стакан воды и попытался дать его женщине, но, к несчастью, этот стакан стоял на столе у господина, играющего не последнюю роль в цементном бизнесе, поэтому нас, всех троих, вывели через служебный выход и приложили к фонарному столбу, приложили раз, и другой, и третий.

ВТОРОЕ АПРЕЛЯ.

Сегодня Суламифь выдвинула новую идею: извлекать пищу, попавшую в дыхательное горло, длинными щипцами или пинцетом. Каждому гражданину надо вменить в обязанность носить при себе такой инструмент, а Красный Крест должен будет обучить всех обращению с ним. Горя желанием испытать метод на практике, мы поехали в «Соль морей» Белнапа, где попробовали извлечь из пищевода у некой миссис Фейс Блицстайн плотно засевшую там крабовую котлету. К несчастью, вид больших щипцов у меня в руке сильно устроил и встревожил ловившую воздух женщину, и она впилась зубами мне в запястье, отчего я уронил инструмент в ее горло. Если бы не стремительные действия ее мужа Натана, который поднял ее за волосы и принялся трясти, как игрушку йо-йо, исход был бы трагическим.

ОДИННАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ.

Наш проект закрывается — увы, до того, как мы смогли добиться результата. Финансирование прекращено решением совета фонда, посчитавшего, что оставшиеся деньги можно с большей пользой потратить на разработку жужжалок. Узнав, что нашу группу распускают, я почувствовал, что мне надо подышать свежим воздухом, и, гуляя в одиночестве поздним вечером по берегу реки Чарльз, невольно задумался о границах науки. Может быть, люди должны время от времени поперхиваться едой? Может быть, это часть некоего непостижимого космического замысла? Не излишнее ли это самомнение — считать, что благодаря научным исследованиям мы сможем контролировать все на свете? Человек заглатывает слишком большой кусок бифштекса и давится. Что может быть естественней? Какое еще нужно доказательство утонченной гармонии Вселенной? Нам никогда не будут ведомы все ответы.

ДВАДЦАТОЕ АПРЕЛЯ.

Вчера у нас был последний день, и случайно я увидел Суламифь в буфете, где, листая монографию о новой вакцине против герпеса, она подкреплялась маринованной селедкой. Я подкрался к ней сзади и, желая сделать сюрприз и испытывая блаженство, доступное только любящим, беззвучно обнял ее. Мигом она начала давиться: в пищеводе застрял кусок селедки. Я по-прежнему держал ее в объятиях, и волей судьбы мои пальцы были сплетены

⁵² *Каннелони* — итальянское блюдо: трубочки из теста с начинкой.

чуть пониже ее грудины. Что-то — можете назвать это слепым инстинктом, можете научным везением — побудило меня сжать кулак и резко надавить. Мгновенно пищевод освободился от селедки, и через считанные секунды обворожительная женщина целиком и полностью оправилась. Когда я рассказал об этом Вольфсхайму, он заметил:

— Да, конечно. С селедкой этот метод работает, но будет ли он работать с черными металлами?

Что он имел в виду — не знаю и не хочу знать. Проект закрыт, и можно сказать, что мы потерпели неудачу, — но по нашим стопам последуют другие и, взяв за основу наши грубые предварительные результаты, в конечном итоге добьются успеха. Мы, все трое, искренне убеждены: настанет день, когда наши дети — а если не они, то внуки уж точно — будут жить в мире, где никому, вне зависимости от расы, вероисповедания и цвета кожи, не будет грозить бедой ни завтрак, ни обед, ни ужин. Закончить я хочу на личной ноте: мы с Суламифью намерены пожениться, а пока, дожидаясь улучшения экономической ситуации, она, я и Вольфсхайм решили предоставить желающим весьма важную услугу — открыть поистине первоклассный тату-салон.

Пустейший человек



Решили перекусить, и за столом пошел разговор о пустых людях, которых каждый знал не мало. Копельман вспомнил такого Ленни Менделя: более пустого малого, сказал он, я в жизни не встречал. И поведал нам следующую историю.

Когда-то составилась кружок любителей покера. Много лет подряд раз в неделю снимали номер в гостинице и неизменной мужской компанией играли по маленькой — исключительно для удовольствия. Расслаблялись, делали ставки и блефовали, выпивали и закусывали, трепались о сексе, о спорте и о делах. И вот однажды (никто потом не мог вспомнить, когда именно) приятели обратили внимание, что Меер Ишкович неважно выглядит.

— Да бросьте, — отмахнулся он, — все в порядке. Чья ставка?

Но с каждым разом Ишкович выглядел все хуже и хуже и однажды не пришел на игру. Вроде бы слег в больницу с гепатитом. Однако у всех были самые мрачные подозрения, и когда недели через три Сол Кац позвонил на работу Ленни Менделю, работавшему на телешоу в Эн-би-си, и сказал: «Бедняга Меер, представляешь, у него рак. Уже увеличены лимфоузлы. Безнадёжно. Метастазы по всему телу. Он лежит в Слоун-Кеттеринге», это, в общем, было не совсем громом среди ясного неба.

— Какой ужас, — сказал Мендель и ощутил, как внезапно накатила глухая тоска и стало познабливать. Он отпил немного чая с молоком.

— Мы с Авой сегодня ходили к нему. Бедолага ведь совсем один на белом свете. Выглядит чудовищно. Слушай, а был такой здоровяк, да? Вейзмир, что за жизнь... В общем, Ленни, он в Слоун-Кеттеринге. Пускают с двенадцати до восьми.

И Кац повесил трубку, оставив Ленни Менделя в тяжелом расположении духа. Менделю было сорок четыре. До сих пор он полагал, что здоров. Внезапно такая самоуверенность показалась ему дурным знаком. Ленни подумал, что Ишкович старше всего на шесть лет. Они никогда не были особо близки, но все же немало повеселились за картами за эти пять лет. Бедняга, бедняга. Наверное, надо послать ему цветочков. Ленни велел секретарше Дороты пригласить флориста и все устроить. Мысль о неотвратимой смерти Ишковича повисла над Менделем черной тучей. Однако вскоре его начала беспокоить другая мысль: о неизбежном походе в больницу. Ясное дело, все ждут, что он пойдет. Малоприятная перспектива, думал Мендель. Он одновременно испытывал стыд за свое малодушие — и страх увидеть умирающего Ишковича. Конечно, Мендель знал, что люди

смертны; однажды он где-то прочитал, что смерть — не отрицание жизни, а ее неотъемлемая часть, и это его более-менее утешило. Но стоило всерьез задуматься о неотвратимости собственного небытия, и Менделя охватывала безудержная паника. Он не был человеком верующим, не считал себя ни героем, ни стойком и предпочитал ничего не знать про похороны, больницы и специальные палаты для безнадежных больных. Повстречав на улице катафалк, он часами не мог избавиться от ужасного образа. Он хорошо представлял себе, как будет сидеть с исхудавшим Ишковичем, неуклюже пытаюсь шутить и якобы непринужденно беседовать. Господи, как же он ненавидел больницы, их мертвенный свет и бездушный кафель! И непрерывные разговоры вполголоса, многозначительные перешептывания, духоту вечно натопленных палат, подносы с тарелками, судна, стариков и калек, в халатах и пижамах шаркающих по коридорам, и спертый воздух, кишасий бог знает какими микробами. А что, если рак в самом деле передается по воздуху? Ведь я буду всего в двух шагах от смертельно больного человека. Черт побери, давайте посмотрим правде в глаза: что мы знаем об этой страшной болезни? Да ничего. И вполне вероятно, однажды выяснят, что какая-то из миллиарда ее разновидностей передается-таки через кашель? Через кашель Ишковича — прямо мне в нос? Или через похлопывание по плечу. Потом Ленни подумал, что Ишкович может умереть прямо в его присутствии, и пришел в ужас. Он ясно представил, как его прежде полный жизни, а ныне изнуренный страданиями приятель (как-то неожиданно стало ясно, что Ишкович — просто добрый приятель, не то чтобы друг, но добрый приятель) протягивает к нему руки и хрипит: «Я не хочу, не хочу... Помогите мне, Ленни!» О боже, боже! — на лбу выступила испарина. Ну как я пойду? И в сущности, с какой стати? Черт побери, мы никогда не были особо близки. Да ради бога, я виделся с ним раз в неделю. Карточный партнер — и все, не более того. Привет-привет. Мы вообще редко разговаривали. Просто партнер. Пять лет встречались только за картами и больше нигде. Теперь он умирает, и неожиданно оказывается, что я должен его навещать. Ни с того ни сего выясняется, что мы старинные друзья. Чуть не закадычные. Помилуйте, да в нашей компании любой был с ним ближе, чем я. В сущности, я самый далекий Мееру человек. Ну так пусть они его и навещают. В конце концов, сколько гостей нужно больному? Поймите, ведь он умирает. Ему требуется покой, а не толпа досужих доброжелателей. Как бы там ни было, сегодня я все равно не могу. У нас прогон в костюмах. Можно подумать, я тут бью баклуши. Меня только-только назначили ассоциированным продюсером. У меня совершенно забита голова. И ближайшие дни тоже отпадают, потому что впереди рождественское шоу и тут начнется сумасшедший дом. Стало быть — только на той неделе. Ничего не поделаешь. В конце той недели. А там посмотрим. Еще неизвестно, дотянет ли Меер до конца той недели. Дотянет — хорошо, я навещу его, а если даже нет — черт побери, какая разница? Может, это звучит жестоко — пускай, жизнь вообще жестока. А пока что надо размять вступительный монолог. Почти нет шуток на злобу дня. Вообще мало сильных реприз.

Под разными предлогами Ленни Мендель уклонялся от посещения Ишковича две с половиной недели. Но потом чувство долга взяло верх, и он испытал стыд, тем более мучительный, что поймал себя на тайной надежде однажды узнать, что все кончено, Ишкович умер, и таким образом освободиться от тягостных обязательств. Если конец все равно неизбежен, рассуждал Ленни, почему не теперь? К чему тянуть и заставлять человека мучиться? Да-да, я понимаю, это бессердечно, говорил он себе, я знаю, что я слабак, но ведь есть люди, которым такие вещи даются легче. В смысле посещение умирающих. Все-таки это не каждому по силам. И потом, можно подумать, мне мало достается.

Но Ишкович был жив, а за покером Менделю задавали вопросы, от которых он готов был провалиться сквозь землю.

— Как, ты до сих пор у него не был? Обязательно пойди, обязательно. К нему почти никто не ходит, он будет очень признателен.

— Он всегда тебе симпатизировал, Ленни.

— Да-да, правда, Меер любил Ленни.

— Представляю, как ты занят со своим шоу. Но постарайся вырваться. В конце концов,

сколько ему осталось?

— Завтра же пойду, — сказал Ленни, но назавтра снова отложил визит. Скажем прямо: когда он все-таки набрался храбрости сходить в больницу минут на десять, вовсе не сострадание руководило им. Он просто хотел сохранить самоуважение. Мендель понимал, что, если Ишкович умрет прежде, чем он преодолеет страх и отвращение, он горько пожалеет — но будет уже поздно. Я буду презирать себя за малодушие, и всем станет окончательно ясно, кто я такой на самом деле — эгоцентрик, ничтожество, дрянь. И наоборот, если я буду мужчиной и схожу к Ишковичу, я вырасту в собственных глазах и в глазах окружающих. Одним словом, Мендель пошел в больницу не потому, что его товарищ нуждался в участии и ободрении.

И здесь в нашей истории происходит удивительный поворот. Мы ведь говорим о пустых людях, и как раз сейчас откроется истинное лицо Ленни Менделя. Однажды во вторник холодным вечером, в семь пятьдесят (чтобы нельзя было задержаться более десяти минут, как бы ему ни хотелось) Ленни получил в больничной регистратуре ламинированный пропуск, позволявший пройти в одноместную палату номер 1501, где лежал Меер Ишкович — в неожиданно хорошей форме, учитывая стадию развития его болезни.

— Ну что, старина? — произнес Мендель слабым голосом, стараясь держаться подальше от кровати. — Как ты тут?

— Кого я вижу? Мендель? Ленни, это ты?

— Был дико занят, никак не мог вырваться раньше.

— Подумать только, как мило с твоей стороны! Я страшно рад тебя видеть.

— Ну, какие дела, Меер?

— Что тебе сказать? Ты знаешь, я таки намерен выкарабкаться. Помяни мои слова, Ленни. Я вылезу. Я справлюсь.

— Конечно справишься, я и не сомневался. — Голос Ленни дрогнул от напряжения. — Через полгода будешь передергивать, как обычно. Ха-ха, шучу, конечно, — ты всегда играл по-честному, старина.

Держи все на юморе, подумал Мендель. Шути. Шути не переставая. Как там пишут? — надо забыть, что перед вами умирающий. Менделю казалось, он видит, как мириады смертоносных вирусов рака, выдыхаемых Ишковичем, кишат в духоте палаты и прокладывают путь в его легкие.

— Я купил тебе «Пост», — сказал Мендель, кладя газету на тумбочку.

— Ну сядь посиди. Куда ты бежишь? Ты же только пришел, — сказал Меер с теплотой в голосе.

— Да нет, я не спешу. Просто прочитал ваш распорядок, велят не утомлять пациентов долгими посещениями.

— Так какие новости? — спросил Меер.

Решив продержаться ровно до восьми, Ленни пододвинул стул, сел не слишком близко к больному и принялся болтать. Он без умолку тараторил о картах, спорте, последних новостях, об инфляции, но, о чем бы ни говорил, он, к своему ужасу, ни на мгновение не мог забыть, что оптимист Ишкович не выйдет отсюда живым. А все остальное не важно. Мендель взмок и почувствовал дурноту. От нервного напряжения, наигранной веселости, неотступного присутствия болезни и чувства собственной уязвимости у него одеревенела спина и пересохло во рту. Он мечтал об одном: поскорее уйти. Было уже пять минут девятого, но никто не велел покинуть палату. Правила явно висели для проформы. С нежностью вспоминая былые деньки, Ленни ерзал на стуле, как на раскаленной сковородке, а через пять бесконечных минут почувствовал, что сейчас упадет в обморок. Я больше не выдержу, подумал он, и тут случилось вот что. В палату вошла медсестра. С извиняющейся улыбкой она ласково обратилась к Ленни: «Прошу прощения, посещения окончены. Скажите друг другу до свидания». Ее звали мисс Хилл. Ей было едва за двадцать. У нее были длинные светлые волосы, ослепительные голубые глаза и прелестное лицо. Ленни Мендель посмотрел на нее и влюбился. Он никогда в жизни не встречал подобного совершенства. Да-да,

Мендель умолк на полуслове и застыл с открытым ртом: так всегда выглядит мужчина, встретивший женщину своей мечты. Все его существо пронзило острое желание быть с ней. «Боже мой, — подумал он. — Как в кино». И действительно: мисс Хилл была неправдоподобно хороша. Огромные глаза, влажные губы, тонкие черты лица, нежный голос и безупречная грудь под ангельски-белым халатиком. Она стала поправлять постель, и в том, как мило она шутила с Ишковичем, чувствовались сердечность и непритворное участие. Потом она забрала поднос и вышла, на прощанье шепнув Менделю: «Лучше идите. Ему надо отдохнуть».

— Это твоя постоянная сестра? — спросил Мендель.

— Мисс Хилл? Новенькая. Очень милая. Тут все, знаешь, кислые. А она такая жизнерадостная, дружелюбная. И с чувством юмора. Ну хорошо, тебе, пожалуй, пора. Мне было так приятно тебя повидать, Ленни!

— Да что там, старина... Мне тоже, Меер.

Ошеломленный Ленни Мендель вышел в коридор и пошел к лифту, надеясь повстречать мисс Хилл. Но ее нигде не было. Он спустился на улицу, глубоко вдохнул холодный ночной воздух и понял, что во что бы то ни стало должен снова увидеть эту девушку. «Боже мой, — думал Ленни, пока такси катило через Центральный парк, — я знаком с актрисами, с фотомоделями — а тут какая-то медсестричка, и она прекраснее, чем все они, вместе взятые. Как же я ничего не сказал? Надо было ее разговорить. Интересно, она замужем? Ах да, конечно нет, раз она „мисс“. Надо было выпросить про нее у Меера. Хотя, если она там недавно...» Он перебрал все «надо было», проклиная себя за то, что упустил неповторимый случай, но потом утешился мыслью, что, по крайней мере, знает, где она работает, и сумеет ее разыскать. Но сначала надо взять себя в руки. В конце концов, она вполне может оказаться скучной куклой, недалекой и простоватой, как сотни красоток, которых он встречал в шоу-бизнесе. Правда, она медсестра. И, следовательно, может быть, не так эгоистична, не так поверхностна, более человечна, чем они. Но вдруг она знает только, как подавать утку? Нет, жизнь не может поступить со мной так жестоко. Ленни придумал было подкараулить мисс Хилл у больницы, но сообразил, что сестры наверняка работают через смену и он может прождать напрасно. И потом, так можно только напугать и навсегда оттолкнуть ее.

На другой день Ленни снова навестил Ишковича. Он принес почитать больному приятелю книгу «Знаменитые спортивные истории», что, по его мнению, должно было вполне оправдать визит. При виде Менделя Ишкович удивился и очень обрадовался, но дежурила в тот вечер не мисс Хилл, а угрюмая мисс Караманулис, время от времени вваливавшаяся в палату. Мендель с трудом скрывал огорчение, старался внимательно слушать приятеля — но не мог. Однако Ишкович сегодня был слегка заторможен и не заметил его рассеянности и стремления поскорей уйти.

Мендель пришел в больницу и на другой день. На этот раз у Ишковича дежурила она. Мендель торопливо поболтал с приятелем, а на обратном пути, в коридоре, умудрился подслушать разговор мисс Хилл с другой медсестрой, из которого понял, что у его богини есть молодой человек и что завтра они идут на мюзикл. Старательно делая вид, что ждет лифта, Мендель слушал во все уши, надеясь понять, как далеко зашли ее отношения с этим парнем, но никаких подробностей не услышал и предположил, что они наверняка помолвлены. Правда, мисс Хилл не носит кольца, но он отчетливо слышал, как она сказала «мой любимый». Мендель приуныл. Он представил себе пылкого обожателя, какого-нибудь молодого врача — например, блистательного хирурга, с которым у мисс Хилл много общих интересов. Пока двери лифта закрывались, Мендель видел, как она уходит вдаль по коридору, оживленно болтая с коллегой, как соблазнительно покачиваются ее бедра; ее прелестный смех словно озарял тишину мрачной юдоли, и, охваченный любовью и тоской, Ленни сказал себе: она все равно будет моей.

Только не напортачить, не испортить все, как обычно. Шаг за шагом, шаг за шагом, медленно и осторожно. Не спешить. Не спешить, из-за этого я всегда прокалываюсь. Не

терять головы. Для начала побольше разузнать о ней. Во-первых, точно ли она так хороша, как мне показалось? Допустим, да. Тогда вопрос: насколько серьезно у них с тем типом? А если даже никакого типа нет, то все равно, светит ли мне что-нибудь? Собственно, почему нет? Если она свободна, почему мне не приударить и не добиться победы? Или даже отбить, если все-таки кто-то есть. Просто нужно время. Сначала хорошенько все выяснить. Потом переходить к делу. Разговоры, шутки, демонстрация моих духовных богатств и чувства юмора в действии. Мендель ломал пальцы, как муж Анны Карениной, и бессвязно разговаривал сам с собой. Значит, план такой: я навещаю Ишковича и постепенно, не суетясь набираю очки. Никаких лобовых атак. Сколько раз моя дурацкая прямота и напористость подводили меня. Хватит. Будем умнее.

И Мендель стал навещать больного каждый день. Ишкович не верил своему счастью, он и не знал, что у него есть на свете такой преданный друг. Всякий раз Мендель приносил основательный, хорошо обдуманый подарок. Подарок, который должен был помочь мисс Хилл составить впечатление о дарителе. То это был со вкусом подобраный букет, то биография Толстого (она обмолвилась, что обожает «Анну Каренину»), томик Вордсворта, баночка икры. Ишкович недоумевал. Честно говоря, он терпеть не мог икры и никогда не слышал о Вордсворте. Хорошо еще, что Мендель удержался, не подарил ему дивные старинные сережки, которые, конечно, восхитили бы мисс Хилл.

При всяком удобном случае галантный кавалер стремился вовлечь даму в разговор. Он выяснил, что она в самом деле помолвлена, но еще сомневается. Ее жених адвокат, а она всегда мечтала выйти замуж за человека искусства. Зато Норман — потрясающий высокий брюнет. (Этот портрет подпортил настроение не столь импозантному Менделю.) Рассказывая исхудавшему приятелю о своих успехах, делясь остроумными соображениями, Мендель говорил так громко, чтобы слышала мисс Хилл. Он чувствовал, что не мог не произвести впечатление, но потом в разговоре снова возникал красавец адвокат, их планы на будущее. «Ну и везунчик этот Норман, — думал Ленни. — Он может быть с ней сколько захочет. Они смеются, строят планы, он прижимает губы к ее губам, снимает с нее наколку, халатик — может быть, даже не до конца...» Боже мой, боже мой, вздохнул Мендель, поглядев в небеса, и покачал головой.

— Вы даже не представляете, что для него значат ваши посещения, — как-то раз сказала медсестра Менделю, и так посмотрела, и так улыбнулась ему, что сердце Ленни запело. — У него ведь совсем никого нет, а знакомые слишком заняты... Знаете, я думаю, большинству людей просто не хватает сострадательности или смелости, чтобы проводить побольше времени рядом с такими больными. Они предпочитают вычеркнуть умирающего из своей жизни и не думать о нем. Поэтому мне кажется, вы ведете себя... просто потрясающе, правда.

Молва о самоотверженности Менделя быстро распространилась, и за картонным столом он сделался всеобщим любимцем.

— Восхищаюсь тобой, — говорил Фил Бирнбаум, делая ставку. — Меер сказал, что его никто не навещает так часто. Он считает, что ты даже специально одеваешься, когда идешь к нему.

А Мендель тем временем думал о бедрах мисс Хилл, о которых он теперь думал всегда.

— Ну, так как он? Молодцом? — спросил Сол Кац.

— Кто? — очнулся Мендель.

— Как кто? Меер, само собой.

— А, ну конечно. Конечно молодцом. Можно позавидовать! — ответил Мендель, даже не понимая, что у него на руках флеш-рояль.

Шли недели, Ишковичу становилось хуже и хуже. Как-то раз, с трудом приоткрыв глаза, он посмотрел на Менделя, склонившегося над кроватью, и тихо проговорил: «Ленни, я люблю тебя. Правда-правда». Он попытался найти его руку.

— Спасибо, Меер, — сказал Мендель, поймав невесомую ладонь. — А что, мисс Хилл сегодня была? А? Ты не можешь капельку погромче? Я не разобрал.

Ишкович слабо кивнул.

— Ну, видишь, как славно, — сказал Мендель. — Поболтали? Меня вспоминали?

Конечно, Мендель оказался в трудном положении: он не смел сделать первого шага — не дай бог, мисс Хилл подумает, что он ходит сюда не только ради умирающего друга.

Часто на пороге смерти человека тянет пофилософствовать, и он говорит что-нибудь вроде: «Мы не знаем, почему родились, и уходим так быстро, что не успеваем понять, что погубило нас. Штука в том, чтобы успеть получить удовольствие. Ведь жить — значит быть счастливым. И все-таки я не сомневаюсь, что Бог есть, и, когда я смотрю, как в окно светит солнце или как звезды загораются по ночам, я чувствую, что у Него есть какой-то замысел и этот замысел очень хорош».

— Безусловно, — соглашался Мендель. — А что мисс Хилл? Как ее Норман? Они еще встречаются? Пока не спрашивал? Ну, если увидишь ее, когда придут за этим анализом, выясни, не забудь, ладно?

Дождливым апрельским днем Ишкович умер. Перед смертью он снова сказал Менделю, что любит его и что ни один человек в жизни не подарил ему столько участия, заботы и тепла, сколько он видел от Менделя в эти последние месяцы.

Через пару недель мисс Хилл с Норманом разорвали помолвку, а вскоре она начала встречаться с Ленни. Роман длился год, потом они расстались.

Закончив рассказ о пустоте Ленни Менделе, Копельман замолчал.

— Н-да, история, — покачал головой Мошкович. — Из этого следует, что есть на свете никуда не годные людишки.

— А я понял иначе, — сказал Джейк Фишбейн. — Ровно наоборот. Эта история о том, как любовь к женщине помогает преодолеть страх перед смертью, пускай даже ненадолго.

— Да перестань, — вмешался Ава Трохман. — Тут вся соль в том, что человеку на смертном одре повезло, что его друг неожиданно влюбился.

— Но они вовсе не были друзьями, — возразил Любошиц. — Мендель первый раз пошел к нему по необходимости. А потом ходил ради собственных интересов.

— Ну и что? Не важно! — сказал Трохман. — Ишкович был не одинок. Он покинул этот свет умиротворенным. И пускай благодаря тому, что Мендель положил глаз на сестричку, — не все ли равно?

— Положил глаз? Что значит «положил глаз»? Какой он ни был пустой, он, может, впервые в жизни встретил настоящую любовь!

— Да какая разница? — пожал плечами Збарский. — Какая разница, в чем там суть? Да и есть ли она вообще. Это ведь просто байка. Давайте распишем. Я сдаю.

Вопрос президенту Линкольну



Эта пьеса в одном действии основана на случае из жизни первого президента Америки Авраама Линкольна. Был ли такой случай в действительности, неизвестно. Наверняка знаю только, что я здорово утомился, пока писал.

1

Линкольн с миной мальчишки-проказника машет своему пресс-секретарю Джорджу Дженнингсу, приглашая его зайти в кабинет.

Дженнингс. Звали, мистер Линкольн?

Линкольн. Да, Дженнингс. Входите. Садитесь.

Дженнингс. Слушаю, господин президент.

Линкольн (*пряча улыбку*). Я хотел бы обсудить с вами одну идею.

Дженнингс. Весь внимание.

Линкольн . В следующий раз, когда мы устроим конференцию для господ журналистов...

Дженнингс . Так...

Линкольн. ...и мне начнут задавать вопросы...

Дженнингс. Да-да, господин президент?

Линкольн. ...вы тоже поднимете руку и спросите: господин президент, какой длины, по вашему мнению, должны быть человеческие ноги?

Дженнингс . Простите?

Линкольн . Вы спросите, какой длины должны быть ноги у человека.

Дженнингс. Могу я узнать зачем, господин президент?

Линкольн . Зачем? Дело в том, Дженнингс, что у меня есть превосходный ответ.

Дженнингс. Какой, господин президент?

Линкольн . Чтоб доставали до земли.

Дженнингс. Прошу прощения?..

Линкольн . Чтоб доставали до земли. Неплохо, а? Какой длины должны быть ноги у человека? — Чтоб доставали до земли.

Дженнингс . Понятно.

Линкольн . Что... не смешно?

Дженнингс . Могу я быть откровенен с вами, господин президент?

Линкольн (*удрученно*). Не знаю... а многие смеялись.

Дженнингс . В самом деле?

Линкольн . Ну да. Были члены администрации, были мои друзья, кто-то спросил про ноги, я мгновенно нашелся, и все просто рухнули.

Дженнингс. Могу я узнать, в какой связи возник вопрос?

Линкольн . То есть?

Дженнингс. Может быть, вы беседовали об анатомии? Может быть, человек, который задал вам вопрос, хирург или скульптор?

Линкольн . Да почему?.. То есть, собственно... Нет. Нет, не думаю. Я думаю, просто фермер.

Дженнингс. Тогда почему он спросил об этом?

Линкольн . По правде сказать, понятия не имею. Знаю только, что он хотел срочно поговорить со мной и его впустили.

Дженнингс (*озабоченно*). Понимаю.

Линкольн . Что с вами, Дженнингс? Вы побледнели!

Дженнингс. Очень уж странный вопрос, господин президент.

Линкольн . Не спорю, но как я нашелся?! С лету, в десятку.

Дженнингс. Что правда, то правда, мистер Линкольн.

Линкольн . Напавал. То есть я вам говорю: все попадали.

Дженнингс. А что тот человек?

Линкольн . Ничего, сказал спасибо и ушел.

Дженнингс. И вас не интересует, зачем он спрашивал?

Линкольн . Сказать по правде, меня больше занимал мой ответ. Я в самом деле был очень доволен. «Чтоб доставали до земли». С лету. Как по писаному.

Дженнингс. Да-да, конечно. Просто все это... ну... меня встревожило.

Спальня в доме Линкольнов. Полночь. Мэри Тодд, супруга президента, уже в кровати, сам Линкольн нервно рассказывает по комнате.

Мэри. Ложись, Ава. Чтостряслось?

Линкольн. Да тот человек. Сегодня утром. Этот вопрос. Не могу понять... Дженнингс завел меня.

Мэри. Бог с ними, Ава. Выброси из головы.

Линкольн. Я хотел бы, Мэри. Господи, неужели ты думаешь, я не хочу? Но передо мной все время его глаза. В них была такая мольба! Чего он хотел?.. Надо выпить.

Мэри. Не надо, Ава.

Линкольн. Надо, Мэри.

Мэри. Не надо, я сказала!.. Ты стал такой дерганый. Проклятая гражданская война.

Линкольн. При чем тут война? Человек нуждался в сочувствии — а я думал только о том, как потешить публику. Передо мной стояла сложнейшая проблема — а я знай старался рассмешить сослуживцев. Все равно они меня ненавидят.

Мэри. Поверь, они все любят тебя, Ава.

Линкольн. Я тщеславное ничтожество. Нет, но нашелся правда моментально.

Мэри. Вот видишь. Ты замечательно ответил. «Чтоб доставали до пуза».

Линкольн. До земли.

Мэри. Нет, ты как-то иначе сказал.

Линкольн. «До земли». Иначе что смешного-то?

Мэри. А по-моему, так смешнее.

Линкольн. Ты считаешь?

Мэри. Конечно.

Линкольн. Мэри, господи, ну что ты в этом понимаешь?

Мэри. Очень смешной образ. Ноги, которые поднимаются к пузу...

Линкольн. Перестань. Ну все, правда хватит. Давай сменим тему. Где у нас бурбон?

Мэри (*удерживая бутылку*). Не надо, Ава. Давай сегодня ты не будешь пить. Я просто запрещаю тебе.

Линкольн. Мэри, что с нами случилось? Ведь когда-то нам было так хорошо вдвоем.

Мэри (*с нежностью*). Подойди сюда, Ава. Смотри, сегодня полная луна. Как в ту ночь, когда мы встретились.

Линкольн. Нет, Мэри. В ту ночь было новолуние.

Мэри. Полнолуние.

Линкольн. Новолуние.

Мэри. Полнолуние.

Линкольн. Я посмотрю в календаре.

Мэри. Ах, Ава, да бог с ним, честное слово!

Линкольн. Прости меня.

Мэри. Это все из-за того вопроса, да? Про ноги? Да?

Линкольн. Что он все-таки имел в виду?

3

Хижина Хейнсов. Входит Билл, он утомлен долгой скачкой. Алиса опускает на пол корзинку с вязаньем и бросается к мужу.

Алиса. Ну что? Попросил? Что он ответил? Он помилует Эндрю?

Билл (*обреченно*). Алиса, я сделал такую ужасную глупость.

Алиса. Что? Ты хочешь сказать — не помилует?

Билл. Я не попросил.

Алиса. То есть как? Ты не попросил президента помиловать сына?

Билл. Не знаю, не понимаю, как это случилось. Он стоял прямо передо мной — Президент Соединенных Штатов в окружении всяких важных господ. Министры, помощники, соратники. Потом ему доложили: так и так, мол, человек скакал целый день,

чтобы о чем-то вас спросить. А я всю дорогу повторял в уме: «Мистер Линкольн, господин президент, наш мальчик, наш сын Эндрю совершил оплошность. Я понимаю, какой это серьезный проступок — заснуть в карауле, но мне кажется, что казнить совсем еще молодого человека — чересчур жестоко. Господин президент, пожалуйста, прошу вас: не могли бы вы отменить приговор?»

Алиса. Все верно. Так и надо было сказать.

Билл. Не знаю, что на меня нашло. Все повернулись ко мне, и президент говорит: «Слушаю вас. О чем вы хотели спросить?» И я ляпнул: «Скажите, пожалуйста, господин президент, какой длины должны быть у человека ноги?»

Алиса. Что?

Билл. Ничего. Я так сказал. Пожалуйста, не спрашивай почему. Какой длины, по его мнению, должны быть у человека ноги.

Алиса. Но при чем тут ноги?

Билл. Говорю тебе, я сам не понимаю.

Алиса. Чьи ноги? Его?

Билл. Пожалуйста, Алиса, прости меня.

Алиса. Какой длины должны быть ноги? В жизни не слышала более идиотского вопроса.

Билл. Я знаю, я знаю! Прошу тебя, не мучай меня.

Алиса. Но почему ноги? Тебя никогда особенно не интересовали ноги!

Билл. Я просто не знал, что сказать. Вдруг все вылетело из головы, понимаешь? Забыл, зачем пришел. Только слышал, как тикают ходики. Мне не хотелось, чтобы он подумал, что я робею.

Алиса. Ну и что президент? Он ответил тебе?

Билл. Да. Он сказал: чтоб доставали до земли.

Алиса. Чтоб доставали до земли? Черт побери, в каком смысле?

Билл. Не знаю. Но он всех здорово рассмешил. Хотя им, конечно, только пальчик покажи.

Алиса (*вдруг отвернувшись*). Ты просто не хотел, чтобы Эндрю помиловали.

Билл. Что ты сказала?

Алиса. В глубине души ты не хотел, чтобы приговор отменили. Я думаю, ты ревнуешь Эндрю.

Билл. Ты сошла с ума, Алиса. Один — один. Я ревную?

Алиса. А что тут странного? Эндрю сильнее тебя. Он лучше управляется с киркой, мотыгой и топором. Он чувствует землю как никто.

Билл. Алиса, остановись!

Алиса. Давай посмотрим правде в глаза, Билл: ну какой ты фермер?

Билл (*в панике, дрожащим голосом*). Ну да, ну да, я признаю. Я ненавижу сельское хозяйство. Все семена для меня на одно лицо. Я никогда не мог отличить чернозема от грязи. Я смешон, да? Конечно, ты ведь выросла на Западе. Школы домоводства и все такое прочее... Что ж, смейся. Я сажаю турнепс, а всходит кукуруза... А ты не думала, как это больно для мужчины?

Алиса. Если б ты просто надписал пакетики, то знал бы, что сеешь.

Билл. Я не хочу больше жить. Все кончено.

Неожиданно кто-то стучится в дверь. Алиса открывает. На пороге — президент Линкольн. Он осунулся, у него красные глаза.

Линкольн. Мистер Хейнс?

Билл. Господин президент...

Линкольн. Тот вопрос...

Билл. Я знаю, знаю — такая глупость! Первое, что пришло в голову. Я очень

волновался. (*Заплакав, Билл опускается на колени. Линкольн тоже плачет.*)

Линкольн . Значит, я прав. Это было типичное *non sequitur*. ⁵³

Билл . Ну да, конечно. Простите меня...

Линкольн (*плача навзрыд*). Я прощаю, прощаю. Встаньте. Поднимитесь с колен, Хейнс. Сегодня же ваш сын будет помилован. И да будут помилованы все сыновья, совершившие проступки. (*Заключает Алису и Билла в объятия.*) Ваш нелепый вопрос заставил меня по-новому взглянуть на свою жизнь. Позвольте мне выразить вам признательность и любовь.

Алиса . Мы тоже многое переоценили, Ава. Ничего, если мы будем звать вас так?

Линкольн . Ну разумеется, о чем речь! Между прочим, как у вас с харчами? Человек целый день проторчал в седле — вы бы хоть предложили перекусить, честное слово.

Хозяева бросаются накрывать на стол — хлеб, сыр; тем временем занавес опускается.

У Фабрицио. Анализ и резонанс



Мы перепечатываем здесь статью нашего ведущего ресторанный критика Фабиана Плотника о ресторане «Вилла Нова» Фабрицио, опубликованную в одном серьезном журнале, и самые интересные из читательских откликов, которые она вызвала.

Спагетти — продукт итальянского неореализма; шеф-повару Марио Спинелли этого не надо объяснять. Спинелли месит свое тесто не спеша. Он хочет, чтобы у посетителей потекли слюнки, он доводит напряжение до предела. Его макароны, непрямолинейные, изобретательные, смелые — порой вызывающие, — многим обязаны Барзино, чье отношение к спагетти как инструменту переустройства общества хорошо известно. Посетитель ресторана Барзино, однако, привык к макаронам белого цвета и ни разу не бывал обманут в своих ожиданиях. Спинелли предлагает нам зеленые спагетти. Почему? Кажется, по чистой прихоти. Как клиенты мы не готовы к таким новшествам. Ничего удивительного, что зеленые макароны не воодушевляют нас. Они вызывают беспокойство, явно не входившее в замысел шеф-повара. А вот лазанья Спинелли по-настоящему хороша и лишена назидательности. В ней, конечно, можно различить неустранимый душок марксизма, но в общем соус удачно маскирует его. В свое время пиццы Спинелли, давнего члена Итальянской компартии, славились тончайшим привкусом марксизма.

Я начал ужин с закусок, показавшихся было бессодержательными, но стоило сосредоточиться на анчоусах — и замысел стал проясняться. Похоже, Спинелли видел в своем ассорти развернутую метафору человеческой жизни, где черные маслины призваны неумолимо напоминать о нашей брэнности. Если так, то почему не было сельдерея? Случайно или сознательно? Закуски у Якобелли — сплошной сельдерей. Правда, Якобелли экстремист; он стремится продемонстрировать абсурдность жизни. Можно ли забыть его скампи — четыре креветки в чесночном соусе, сервированные так, что говорили о нашей причастности к Вьетнаму больше, чем бесчисленные книги на ту же тему? В свое время это вызывало шок! А теперь кажется такой же банальностью, как легкая пикката финочи (ресторан «Везувий») — пугающая, почти двухметровая телячья отбивная, над которой реет лоскут черного шифона. (Финочи вообще выразительней в телятине, чем в курице и рыбе, и «Тайм» совершил ужасную оплошность, пропустив его фамилию в сноске к колонке Роберта

⁵³ Вывод, не соответствующий посылкам (*лат.*).

Раушенберга.⁵⁴)

В отличие от упомянутых мэтров авангарда, Спинелли редко идет до конца. Он колеблется, как в случае со спумони, и, естественно, в результате мороженое тает. Но все-таки нетрадиционные подходы всегда привлекали его — взять, например, спагетти вонголе с дарами моря. (До курса психотерапии Спинелли испытывал необъяснимый ужас при виде моллюсков. Он был не в состоянии раскрыть их раковины, а когда однажды поддался уговорам и заглянул вовнутрь, лишился чувств. В ранних набросках вонголе он прибегает исключительно к «фальшивым моллюскам»: пробует земляные орехи, маслины и, на пороге кризиса, прямо перед госпитализацией, ластики от карандашей.)

Прелестный штрих в меню «Вилла Нова» — пармиджана Спинелли из цыпленка без косточек. Название окрашено иронией — ведь он начинил цыпленка дополнительными костями, как бы говоря, что не следует набрасываться на жизнь слишком жадно и беспечно. Необходимость все время извлекать кости изо рта и размещать на тарелке придает блюду сумрачный характер. Неминуемо вспоминается Веберн, чьи мотивы часто возникают у Спинелли.

Роберт Крафт⁵⁵ в статье о Стравинском интересно рассуждает о влиянии Шёнберга на салаты Спинелли и о влиянии Спинелли на концерт Стравинского для струнных ре-мажор. В самом деле, его суп минестроне — прекрасный пример атональности. Посетитель обнаруживает в чашке множество неожиданных кусочков самых разных кушаний — и, чтобы выпить суп, вынужден производить характерные звуки ртом. Эти звуки организованы в серии. Когда я впервые пришел к Фабрицио, два посетителя, маленький мальчик и тучный господин, ели минестроне одновременно; общее восхищение было таково, что им аплодировали стоя. На десерт подавался сыр тортони, и я вспомнил проницательное замечание Лейбница: «У монад нет окон». Просто кстати.

Цены в ресторане у Фабрицио, как однажды сказала мне Ханна Арендт в частной беседе, «сносные, не будучи исторически неизбежными». И она права.

В редакцию:

Статья Фабиана Плотника о ресторане «Вилла Нова» полна дельных и тонких наблюдений. Но одно обстоятельство тем не менее ускользнуло от зоркого взгляда автора. Ресторан Фабрицио, являясь предприятием семейным, пренебрегает моделью классической моноклеарной итальянской семьи, то есть семьи с крепким центром, и, как ни странно, организован по типу небогатой семьи валлийских шахтеров в период, предшествующий индустриальной революции. Отношения Фабрицио с женой и детьми явно рассчитаны на зрителя, а по существу глубоко буржуазны. Сексуальные нравы персонала — типично викторианские, особенно у девушки в кассе. Условия труда влекут за собой проблемы, также типичные для английских мануфактур, и официантам нередко приходится работать по восемь — десять часов в день, сервируя столы салфетками, которые не соответствуют современным стандартам безопасности.

Доув Рэкин

В редакцию:

В своей рецензии Фабиан Плотник называет цены Фабрицио «сносными». Любопытно: может, и «Четыре квартета» Элиота он тоже назвал бы «сносными»? Скорее всего, возвращение Элиота на более примитивную ступень доктрины Логоса отражает бытийную

⁵⁴ Роберт Раушенберг (р. 1925) — художник-абстракционист, один из столпов поп-арта.

⁵⁵ Роберт Крафт — дирижер, композитор, друг и душеприказчик И. Стравинского.

деятельность имманентных причин, но восемь пятьдесят за тетрациклины из цыплят? Это не убеждает, даже в католическом контексте. Обращаю внимание г-на Плотника на статью в журнале «Энкаунтер» (2/58) под заголовком «Элиот, реинкарнация и суп из устриц».

Айно Шмидерер

В редакцию:

Что господин Плотник забывает принять в расчет, размышляя о феттучине Марио Спинелли, так это, конечно, размер порции, точнее, количество макарон. Совершенно очевидно, что нечетных макаронин там столько же, сколько четных и нечетных вместе. Налицо парадокс. Однако дискурсивный анализ показывает, что это парадокс сугубо вербальный, то есть г-н Плотник использует термин «феттучине» недостаточно строго. Действительно, рассмотрим феттучине в качестве неизвестного: так сказать, пусть феттучине равно x . Тогда $a=x/b$, где b — константа, равная половине каждого посетителя. Кто-то может сказать: по такой логике феттучине — это подливка! Нелепый вывод. Ясно только одно: заключение в виде «феттучине было великолепно» — некорректно. Его лучше формулировать так: «Спагетти с подливкой — это не ригатони». Как неоднократно указывал Гёдель, «всякую сущность следует рассмотреть в категориях логики, прежде чем брать в рот».

Уорд Бабкок, профессор Массачусетского технологического института

В редакцию:

Я с большим любопытством прочитал статью г-на Фабиана Плотника о ресторане «Вилла Нова» и нахожу ее очередной чудовищной попыткой ревизовать историю. Как быстро мы забыли, что в страшные времена сталинизма ресторан Фабрицио не только преспокойно работал, но и увеличил число столиков в дальнем зале! О политических репрессиях в Советском Союзе там даже не упоминали. Больше того, когда Комитет в поддержку советских диссидентов призвал Фабрицио исключить из меню ньёки, пока русские не освободят троцкиста Григория Томшинского, легендарного повара-ударника, — Фабрицио отказался. А у Томшинского на руках были десять тысяч кулинарных рецептов, в результате конфискованных НКВД. «В пользу мучимой изжогой бедноты» — как высокопарно оправдывался советский суд, приговоривший Томшинского к каторжным работам. Где были тогда умники из «Виллы Новы»? Гардеробщица Тина даже не попыталась возвысить голос в защиту своих советских коллег, которых забирали прямо из дома и заставляли вешать одежду сталинских сатрапов. Добавлю, что когда десяткам советских физиков предъявили обвинение в переедании и бросили за решетку, то многие рестораны закрылись в знак протеста, но Фабрицио продолжал работать как ни в чем не бывало и даже стал раздавать бесплатные мятные леденцы после еды!

Я сам обедал у него в тридцатые и видел, какое теплое гнездышко свили там махровые сталинисты. Как часто они пытались подсунуть блинчики беспечным посетителям, заказавшим пиццу. Нелепо утверждать, будто большинство не знало, что творится на кухне. Когда просишь принести скунилли, а получаешь блин — вполне понятно, в чем дело. Следует признать, что наши интеллектуалы просто пытались спрятать голову в песок. Однажды мы пошли к Фабрицио вдвоем с профессором Гидоном Хеопсом. Ему подали чисто русский обед: тарелку борща, котлеты по-киевски и халву. Но он, доедая, сказал мне: «Не правда ли, спагетти удались?»

Квинси Мондрагон, профессор Нью-Йоркского университета

Отвечает Фабиан Плотник:

Г-н Шмидерер демонстрирует полную неосведомленность либо о ценах в других ресторанах, либо о «Четырех квартетах». Элиот и сам признавал, что восемь пятьдесят за хорошее тетрацини из цыплят (цитирую по его интервью журналу «Партизан ревью») — «вполне приемлемо». В «Драй Сэльвейджес» ту же мысль Элиот приписывает Кришне, хотя и в других словах.

Благодарю Доува Рэпкина за его замечания о классической итальянской семье и профессора Бабкока за глубокий семантический анализ, хотя не вполне согласен с его выкладками и предложил бы скорее следующий ход рассуждений:

- а) некоторые макароны с приправой — это спагетти;
- б) приправа — это не макароны;
- в) спагетти — это не приправа;
- г) спагетти — это макароны.

С помощью подобной модели Витгенштейн⁵⁶ доказывал, что Бог существует, а Бертран Рассел⁵⁷ — что, более того, в глазах Господа Витгенштейн не больше наперстка.

Наконец, профессор Мондрагон. Спинелли действительно работал на кухне у Фабрицио в тридцатые годы и, возможно, дольше, чем следовало бы. Но все же определенно в его пользу говорит тот факт, что, когда бесславный Комитет по антиамериканской деятельности потребовал сменить в меню «пармскую ветчину с красной смородиной» на менее политически окрашенную ветчину с фидами, Спинелли обратился в Верховный суд и добился принятия знаменитого ныне постановления: «Названия закусок находятся под защитой первой поправки к Конституции».

Кара



Что Конни Чейзен, на которую мне было суждено положить глаз, ответила взаимностью, стало чудом, не имеющим аналогов в истории западной части Центрального парка. Стройная блондинка с высокими скулами, актриса, умница, она кружила головы, оставаясь безнадежно неприступной, а обаяние ее живого ироничного ума состязалось с чарами распутной чувственности, таившейся в каждом изгибе, и всякий молодой человек на той вечеринке понимал, как отчаянно не хватает в его жизни этой девушки. Что она остановит взгляд на мне, Харольде Коэне, тощем носатом драматурге и паникере двадцати четырех лет от роду, было *non sequitur*, сравнимым только с рождением восьмерых однойцевых близнецов. Да, я свободно острою и произвожу впечатление интересного собеседника, но удивительно, до чего быстро и точно сумело распознать мои скромные достоинства это безукоризненно сложенное видение!

— Ты потрясающий! — сказала она после часового обмена флюидами, когда, оставив вальполичеллу⁵⁸ и закуски, мы прислонились к книжному шкафу. — Может, как-нибудь позвонишь?

⁵⁶ *Людвиг Витгенштейн* (1889–1951) — австрийский философ и логик, автор идеи создания «идеального» языка.

⁵⁷ *Бертран Рассел* (1872–1970) — английский философ, логик, математик, социолог, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1950).

⁵⁸ *Вальполичелла* — марка красного вина.

— Позвоню? Да я бы прямо сейчас увел тебя.

— Конец света, — сказала она с кокетливой улыбкой. — Честно говоря, не думала, что произвожу на тебя впечатление.

Я постарался сохранить непринужденный вид, но кровь хлынула по артериям в известных направлениях. Я покраснел — вечная история — и сказал:

— Я думаю, ты просто ураган.

И она тоже покраснела, даже еще сильнее, чем я.

Честно говоря, я был совершенно не готов к немедленному согласию. Все это подогретое вином нахальство было просто подготовкой почвы на будущее, чтобы однажды, когда я наконец предложу перейти в спальню, это не стало полной неожиданностью и не разрушило невыносимо платонической близости. Но оказалось, мне, такому нерешительному, осторожному типу, любимой жертве неврозов и угрызений совести, судьба дарит эту ночь. С пути, который свел нас с Конни Чейзен, свернуть было невозможно, и через час мы метались в неистовом па-де-де среди простыней, самозабвенно подчиняясь нелепой хореографии любовной страсти. Никогда прежде у меня не было такой бурной и успешной ночи любви, и потом, когда Конни лежала в моих объятиях утоленная и обессиленная, я размышлял, как именно судьба собирается взимать свои неотвратимые налоги. Суждено ли мне вскоре ослепнуть? Или стать паралитиком? Какой кошмар предстоит взять на себя Харольду Коэну, чтобы миры смогли продолжить гармоничный круговорот? Но пока это оставалось делом будущего.

Первый месяц прошел без осложнений. Мы с Конни изучали друг дружку и наслаждались каждым открытием. Она оказалась понятливой, пылкой и чуткой, ее воображение — раскованным, а познания — многочисленными и разнообразными. Она была способна рассуждать о Новалисе и цитировала «Ригведу». Знала наизусть тексты всех песен Кола Портера.⁵⁹ В постели не признавала запретов и любила эксперименты — настоящее дитя будущего. В поисках недостатков приходилось придирается к мелочам. Скажем, она бывала по-детски капризна. Каждый раз в ресторане, выбрав блюдо, передумывала, и обязательно когда уже было неловко менять заказ. И всегда сердилась, если я объяснял, что это некрасиво по отношению к официанту и шеф-повару. Через день меняла диеты, самозабвенно предаваясь одной, а потом отвергая ее в пользу какой-нибудь новомодной теории похудения. Хотя нельзя сказать, что у Конни был лишний вес. Как раз наоборот. Такой фигуре могли позавидовать манекенщицы из «Вог». Но ее комплекс неполноценности изумил бы даже Кафку, и в мучительных приступах самокритики Конни называла себя жалким ничтожеством, бездарью, которой нечего лезть в актрисы и тем более братья за Чехова. Мои возражения действовали более-менее ободряюще, и я слагал всё новые гимны ее душе и плоти, понимая, впрочем, что, если б не ее собственная целеустремленность, никакие доводы бы не помогли.

Волшебная сказка закончилась в один день, примерно через полтора месяца, из-за беспечности Конни. Ее родители устраивали пикник в Коннектикуте, и мне предстояло наконец познакомиться с семейством Чейзенов.

— Папуля — супер, — с уважением рассказывала Конни. — Он в отличной форме. И мама прелесть. А твои?

— Прелесть... я бы не сказал, — признался я.

Честно говоря, я не очень высоко оценивал внешние достоинства моих близких. Родню по материнской линии я бы сравнил с тем, что выращивают в чашке Петри. У меня были напряженные отношения с домашними, мы вечно доставали друг друга, воевали — разумеется, любя, хотя ни одно ласковое слово ни разу не сорвалось с их уст ни на моей памяти, ни, подозреваю, с тех пор, как Господь поставил свой завет с Авраамом.

⁵⁹ Кол Портер (1891–1964) — автор всемирно популярных джазовых песен.

— Нет, мои не ссорятся, — сказала Конни. — Они попивают, но очень обходительны. И Дэнни тоже милый. (Ее брат.) Правда, странноватый, но ласковый. Он сочиняет музыку.

— Мне уже не терпится их увидеть.

— Главное, чтоб ты не втрескался в Линдсей.

— А как же. Это кто?

— Моя сестренка. Младше на два года, страшно заводная и сексуальная. Всех сводит с ума.

— Звучит интригующе, — сказал я.

Конни погладила меня по щеке.

— Надеюсь, она тебе понравится не больше, чем я, — произнесла она полушутливым тоном, скрывавшим, вероятно, какие-то опасения.

— Будь спокойна, — заверил я.

— Правда? Даешь слово?

— Вы соперницы?

— Да нет. Мы обожаем друг дружку. Но у нее совершенно ангельская мордашка и сказочная фигурка. В маму. И при этом довольно приличный *IQ* и сумасшедшее чувство юмора.

— Ты прекрасна, — сказал я и поцеловал ее.

Но, сознаюсь, до конца того дня меня не оставляли мысли о Линдсей Чейзен. Двадцать один год. Боже мой, думал я, если верить Конни — настоящий вундеркинд. Неужели правда? Мог ли такой слабак, как я, не затрепетать при одной мысли о сладких девичьих запахах и звонком хохоте сногшибательной чистокровной американки из Коннектикута по имени Линдсей — а имя?! — и не перевести хоть и преданный, но все-таки незашоренный взгляд с Конни на юную шалунью? В конце концов, я был знаком с Конни всего полтора месяца, и, хотя нам было чудесно вдвоем, влюблен я, в сущности, не был. Впрочем, эта Линдсей должна оказаться поистине сказочно хороша, чтобы я различил свежее дуновение в урагане радости и страсти, превратившем эти полтора месяца в сплошной праздник.

В тот вечер я любил Конни, но, когда заснул, в мои сны пробралась Линдсей. Сладкая малышка Линдсей, восхитительная студенточка с личиком кинозвезды и повадками принцессы. Я метался, ворочался и проснулся среди ночи с необъяснимой тревогой и дурными предчувствиями.

Наутро все грезы рассеялись, и после завтрака мы с Конни отправились в Коннектикут, захватив вино и цветы. Мы катили по осенним дорогам, слушали Вивальди на УКВ и обсуждали сегодняшнюю рубрику «Культура и отдых». И только подъезжая к воротам чейзеновских владений, я снова вспомнил о запретной сестренке.

— А приятель Линдсей будет? — спросил я шпионским фальцетом.

— У них все кончено, — ответила Конни. — Она меняет их как перчатки. Роковая женщина.

Хм, подумал я, сестренка ко всему и общительна. Но неужели она вправду прелестнее Конни? Это было трудно вообразить, и все-таки я решил подготовиться к любым неожиданностям. К любым, кроме, конечно, той, что случилась этим ясным, свежим воскресным днем.

Мы с Конни присоединились к пикнику. Было полно харчей и выпивки. Переходя от одного светского кружка к другому, я перезнакомился с ее родней, и хотя сестренка вполне соответствовала описаниям — хорошенькая, игривая, я с удовольствием поболтал с ней, — я не предпочел бы ее Конни. Из сестер старшая привлекала меня больше. Но в тот день мое сердце все-таки было разбито. Его разбила совсем другая женщина — их потрясающая мать, Эмили.

Миссис Эмили Чейзен, пятьдесят пять лет, энергичная, загорелая, прекрасное лицо пионерки Дикого Запада, волосы с проседью убраны назад, сочные упругие округлости

выступают безукоризненными арками в духе Бранкузи,⁶⁰ а в широкой белозубой улыбке и громком грудном смехе столько теплоты, и обаяния, и соблазна, что не поддаться им невозможно.

«Ну и порода! — думал я. — Ну и гены у этой семейки! И смотри какие стойкие, судя по тому, что Эмили Чейзен вела себя со мной не менее свободно, чем ее дочь». Я не отходил от Эмили ни на минуту, и она явно предпочитала болтать со мной, совершенно не заботясь о других гостях, все продолжавших прибывать. Мы говорили о фотографии (ее хобби) и о книгах. Она сейчас читала одну вещь Джозефа Хеллера.⁶¹ Читала с наслаждением, находила ее очень забавной и, с очаровательным смехом наполняя мой бокал, сказала: «Господи боже, вы, евреи, и вправду совершенно невероятны». Невероятны? Знала бы она Гринблатов. Или чету Фогельштейнов — это папины друзья. Или еще лучше — моего племянника Тову. Невероятны? Ну, они по-своему милы, но что уж такого невероятного в этих вечных спорах о том, как лучше бороться с запором или на каком расстоянии смотреть телевизор?

Мы с Эмили наперебой говорили о фильмах, мы обсудили мои театральные планы и ее новое увлечение — составление коллажей. У нее безусловно были недюжинные творческие и интеллектуальные способности, но по той или иной причине они не проявились. Притом Эмили явно не тяготилась своим образом жизни, и они с Джоном Чейзенем, постаревшим парнем из тех, с кем можно пойти в разведку, обнимались и выпивали на пару, как молодые влюбленные. Нет, правда: по сравнению с моими стариками, которые совершенно необъяснимым образом жили вместе уже сорок лет (вероятно, назло друг дружке), Эмили и Джон смотрелись дуэтом воздушных гимнастов из дружной цирковой династии Лунтс. Моим не удавалось обсудить даже погоду без того, чтоб не начались взаимные обвинения, упреки, только что не стрельба.

Когда пришло время уезжать, мне стало грустно, и на обратном пути все мои мысли занимала Эмили.

— Милые, правда же? — спросила Конни по дороге в Манхэттен.

— Очень, — согласился я.

— Папуля — мировой, правда? Просто чудо.

— М-м-м.

Честно говоря, мы с ее папой не обменялись и парой слов.

— А мама прекрасно выглядит. Давно не видела ее такой молодчиной. Тем более что она после гриппа.

— Она удивительная.

— Мне нравятся ее фотографии и коллажи, — сказала Конни. — Жаль, отец не поощряет ее, он очень старомоден. Он просто не понимает, как можно заниматься искусством. И никогда не понимал.

— Действительно жаль, — сказал я. — Надеюсь, это не слишком отравляло ей жизнь.

— Еще как отравляло, — ответила Конни. — Ну, а Линдсей? Влюбился?

— Она очень мила. Но до тебя ей далеко. Другой класс совсем. По крайней мере, на мой вкус.

— Ты меня успокоил, — сказала Конни смеясь и уткнулась мне в щеку.

Не мог же я, гнусная тварь, сообщить ей, что только и мечтаю о том, как бы снова увидеться с ее фантастической мамашей, и мой бедный мозг жужжит и щелкает вроде ЭВМ, пытаюсь сообразить, каким образом это устроить! Если бы меня спросили, чего я жду от встречи, я бы, честное слово, не знал, что сказать. Но я точно знал, ведя машину сквозь

⁶⁰ *Константин Бранкузи* (Брынкуши; 1876–1957) — румынский скульптор, один из первых абстракционистов в скульптуре.

⁶¹ *Джозеф Хеллер* (1923–1999) — известный американский писатель.

холодную осеннюю ночь, как сейчас надо мной хохочут Фрейд, Софокл и Юджин О'Нил.

В следующие несколько месяцев мне удалось повидаться с Эмили Чейзен не один раз. Обычно это бывали невинные развлечения втроем: мы с Конни встречали ее в городе и отправлялись в музей или на концерт. Пару раз, когда Конни оказывалась занята, я придумывал что-нибудь для Эмили сам. Конни была в восторге: ее мать и ее любовник смогли подружиться. Еще пару раз я ухитрился подстроить безукоризненно случайную встречу с Эмили, которая совершенно стихийно перетекала в прогулку либо в легкую выпивку. Я с одобрением выслушивал ее творческие замыслы, понимающе смеялся шуткам, и Эмили было явно по душе мое общество. Мы говорили о музыке, о литературе, о жизни — мои наблюдения никогда не оставляли ее равнодушной. И при этом было совершенно ясно, что она даже отдаленно не видит во мне ничего, кроме просто приятеля. А если и видит, то ни за что этого не обнаружит. Да и как могло быть иначе? Я жил с ее дочерью. Благопристойное сожителство в цивилизованном обществе, где соблюдаются определенные табу. В конце концов, на что я мог рассчитывать? Что она развратная вамп из немецких фильмов и примется соблазнять любовника собственной дочери? Честно-то говоря, я уверен, что потерял бы всякое уважение к Эмили, признайся она в чувствах ко мне или дай хоть малейший повод усомниться в своей недоступности. И все же я совершенно потерял голову. Страсть измучила меня, и вопреки всякой логике я молил небеса ниспослать хоть малюсенький намек на то, что брак Эмили не столь идеален, как кажется, или что, отчаянно сопротивляясь, она все-таки по уши влюбилась в меня. Я даже подумывал о решительных, дерзких шагах, но перед внутренним взором возникали огромные заголовки передовиц в бульварной прессе.

Я изнывал, мне ужасно хотелось обо всем рассказать Конни, открыться, попросить у нее помощи и вместе развязать мучительный узел, но я боялся спровоцировать небольшой ядерный взрыв. И вместо того чтобы набраться мужества, проявить честность — вынюхивал, как хорек, хоть что-нибудь, что могло бы рассказать об отношении Эмили ко мне.

— Я водил маму на выставку Матисса, — сообщил я однажды.

— Знаю, — сказала Конни. — Она в восторге.

— Слушай, ей повезло в жизни. Она выглядит совершенно счастливой. Что значит удачный брак.

— Да.

Пауза.

— Ну, и... она тебе что-то рассказывала?

— Сказала, что вы потом чудесно поболтали. О ее фотографиях.

— Точно. — Пауза. — А еще? Обо мне? В смысле, мне кажется... Может, я начинаю ей надоедать?

— Да с чего ты взял? Нет, конечно! Она тебя обожает!

— Правда?

— Дэнни проводит все больше времени с отцом, и ты в каком-то смысле заменяешь ей сына.

— Сына? — огорченно переспросил я.

— Я думаю, маме хотелось бы, чтобы сын так же интересовался ее занятиями, как ты. Чтобы он был ей настоящим другом. И более склонен к размышлениям. Лучше понимал ее творческую натуру. Я думаю, ты для нее играешь именно такую роль.

В тот вечер я в мерзком настроении сидел перед телевизором рядом с Конни, а мое тело с иступленной нежностью рвалось к женщине, которая считала меня не более опасным, чем собственный сынок. Или нет? Может, все это домыслы Конни? Разве Эмили не была бы потрясена, узнай она, что мужчина, который значительно ее моложе, находит ее потрясающей, сексуальной, привлекательной и мечтает вступить с ней в отношения, мало похожие на родственные? Разве так уж невозможно, чтобы женщина ее лет, в особенности если она не встречает в муже отклика на глубинные потребности своей души, благосклонно отнеслась к пылкому влюбленному? И не придаю ли я с моими мещанскими предрассудками

слишком большого значения тому обстоятельству, что живу с ее дочерью? В конце концов, случаются и более невероятные истории. Естественно, среди тонких, художественных натур. Надо было в последний раз все хорошенько взвесить и покончить с колебаниями, которые уже превратились в одержимость. Еще чуть-чуть, и я бы не выдержал; пришло время действовать или выкинуть все из головы. Я решил действовать. Победоносные кампании прошлого подсказали наилучшую стратегию. Следовало заманить Эмили в «Треjder Викс»,⁶² сумрачную пещеру первобытных наслаждений, где в укромных уголках обманчиво легкие ромовые коктейли быстро освобождали разъяренное либидо из его темницы. Пара «Май-Тай», и сдается любая. Рука на колене. Внезапный настойчивый поцелуй. Переплетенные пальцы. На чары волшебного пунша можно положиться, осечек не бывало. А если ошеломленная жертва отстранялась, высоко подняв брови, можно было изящно дать задний ход, списав все на воздействие туземных напитков. «Прости меня, — мог оправдаться я, — у меня поехала крыша от этого зелья. Не соображаю, что творю». Всё, хватит, время светской болтовни прошло, думал я. Я люблю сразу двух? Не такое невиданное дело. Они оказались дочкой и матерью? Тем заманчивее! Я был близок к нервному срыву. Я был уверен в победе. Но, вынужден признать, в конце концов все произошло не совсем так, как было задумано. Да, однажды холодным февральским днем мы с Эмили действительно зашли в «Треjder Викс». И мы смотрели друг другу в глаза, потягивая из высоких бокалов белые напитки, в которых под маленькими соломенными зонтиками нежились в пене кусочки ананаса, и жизнь виделась нам во все более розовом свете — но этим дело и ограничилось. Ограничилось несмотря на то, что моим животным инстинктам была предоставлена полная свобода. Я просто понял, что сломаю Конни жизнь. И моя грязная совесть — или, скорее, вернувшийся здравый смысл — не позволила мне отработанным движением положить руку на колено Эмили Чейзен и утолить свои темные страсти. Мне вдруг стало ясно, что я просто безумный фантазер, который на самом деле любит Конни и ни за что не посмеет рисковать, чтобы не причинить ей боль. И я пришел в себя. Да-да, Харольд Коэн оказался более приличным типом, чем можно было предположить. И любил свою подружку гораздо сильнее, чем ему казалось. Историю с Эмили Чейзен следовало сдать в архив и забыть навсегда. Это будет мучительно, но я полагался на рассудок и здравый смысл.

В завершение чудесной встречи, апогеем которой должен был стать яростный поцелуй спелых, манящих губ Эмили, мне подали счет, и я сказал себе: кончено. Смеясь, мы вышли на улицу; заметал снежок, я проводил Эмили до машины и смотрел, как она уезжает в Коннектикут; мне же предстояло вернуться домой с новым, более глубоким чувством к той, что по ночам делила со мной постель. Жизнь действительно сущий хаос, думал я. Чувства так непредсказуемы. Как могут люди прожить вместе сорок лет? Вот настоящее чудо — что там расступившиеся воды Красного моря? — только мой простодушный отец может считать последнее большим достижением! Я поцеловал Конни и признался в глубине своих чувств. Она ответила взаимностью. Мы легли.

Наплыв, как выражаются в кино: несколько месяцев спустя. Конни больше не может спать со мной. И почему же? Я сам навлек на себя эту беду, как протагонист в греческой трагедии. Наш секс стал мало-помалу портиться довольно давно.

— Что случилось? — спрашивал я. — Я что-то делаю не так?

— Господи, нет, ты ни в чем не виноват. Черт!

— Ну что? Скажи мне.

— Просто я не настроена, — отвечала она. — Может, нам не следует каждую ночь?

«Каждая ночь» на самом деле случалась лишь несколько раз в неделю, а вскоре и того реже.

— Я не могу, — виновато говорила Конни, когда я пытался проявить инициативу. — У

⁶² «У торговца Вика». Торговец Вик — Виктор Бергерон, владелец ресторанов изысканной кухни.

меня сейчас трудный период.

— Какой трудный период? — с подозрением спрашивал я. — У тебя кто-то есть?

— Конечно нет.

— Ты меня любишь?

— Да. К сожалению.

— Так в чем же дело? Что приключилось? И смотри, чем дальше, тем хуже.

— Я не могу спать с тобой, — наконец призналась Конни однажды ночью. — Ты напоминаешь мне моего брата.

— Кого?

— Ты напоминаешь мне Дэнни. Не спрашивай почему.

— Ты шутишь, что ли?

— Нет.

— Но ему же двадцать три года, он блондин, чистокровный американец, он служит в юридической конторе у вашего отца — чем я его напоминаю?

— У меня чувство, что я ложусь в постель с собственным братом. — Она заплакала.

— Хорошо, хорошо, не надо плакать. Что-нибудь придумаем. Я только приму аспирин и лягу. Как-то неважно себя чувствую.

Сжимая пульсирующие виски, я изображал полное недоумение, но, конечно, все понял: Конни ощутила во мне что-то братское из-за наших близких отношений с Эмили. Судьба принялась за сведение счетов. Я был обречен на танталовы муки: стройное, загорелое тело Конни лежало в десяти сантиметрах, но стоило протянуть руку, как классическое идиотское «Эй» останавливало меня. В необъяснимом распределении ролей (что так типично для наших душевных драм) мне неожиданно досталась роль брата героини.

Следующие месяцы ознаменовались разнообразными фазами мучений. Сначала попытка воздержанием. Затем признание самим себе, что положение не улучшается. Притом мои старания быть чутким и терпеливым. Я вспоминал, как однажды в колледже потерпел неудачу с хорошенькой однокурсницей исключительно потому, что какой-то поворот ее головы вдруг напомнил мне тетю Ривку. Та девушка была гораздо симпатичнее тетки из моего детства, похожей на белку, но мысль, что я буду заниматься любовью с маминой сестрой, бесповоротно погубила свидание. Я понимал, каково Конни, но сексуальная неудовлетворенность накапливалась во мне и искала выхода. Через какое-то время я уже не мог удержаться от язвительных замечаний, а чуть позже — от острого желания спалить дом дотла. И все-таки старался держать себя в руках, пытаюсь выгрести из бури безрассудства и спасти наши, в остальном хорошие, отношения с Конни. Мой совет сходить к психоаналитику наткнулся на глухую стену, ибо не было ничего более чуждого ее коннектикутскому воспитанию, чем выдумки венских евреев.

— Спи с другими, — посоветовала она. — Что я могу еще предложить?

— Я не хочу спать с другими. Я люблю тебя.

— И я тебя люблю. Ты же знаешь. Но я не могу ложиться с тобой в постель.

Я в самом деле был не из тех, кто норовит переспать с каждой встречной, и, если не считать несостоявшегося приключения с Эмили, ни разу не изменял Конни. Конечно, меня посещали естественные фантазии о всяких случайных женщинах — о какой-нибудь актрисе, или стюардессе, или глазастенькой старшекласснице, — но никогда бы я не изменил любимой на самом деле. И не потому, что не было случая. Попадались женщины весьма настойчивые, даже агрессивные, — но я был предан Конни. Тем более в дни тяжелых испытаний ее импотенцией. Разумеется, мне приходило в голову снова взяться за Эмили, с которой мы по-прежнему виделись то втроем с Конни, то наедине — невинные дружеские встречи, — но я понимал, что, разворошив угли, которые с таким трудом сумел погасить, сделаю несчастными всех. Притом не скажу, что Конни оставалась мне верна. Нет, как ни печально, по крайней мере, несколько раз она попадалась в коварные вражеские силки и втайне от меня делила ложе с актерами. Да и с драматургами тоже.

— Ну что ты от меня хочешь услышать? — расплакалась она, когда однажды к трем

часам ночи я заставил ее запутаться в противоречивых алиби. — Я делаю это, только чтобы убедиться, что я не какая-то извращенка. Что я в состоянии спать с женщиной.

— С любимым, кроме меня! — Я был взбешен такой несправедливостью.

— Да. Ты напоминаешь мне моего брата.

— Я не хочу больше слушать эту чушь.

— Я же сказала тебе: спи с другими.

— Я старался не делать этого, но похоже — придется.

— Пожалуйста. Начинай. Это какое-то проклятье! — Она зарыдала.

Это и в самом деле было проклятье. Ну а что же еще, если двое любят друг друга, но вынуждены расстаться из-за почти комического недоразумения? Совершенно ясно, что я сам навлек на себя эту кару, когда сблизился с матерью Конни. Наверное, это расплата за уверенность, что я смогу соблазнить Эмили Чейзен и переспать с ней, нагулявшись с ее дочерью. Грех гордыни, судя по всему. Я, Харольд Коэн, уличен в гордыне. Я, никогда не ставивший себя выше грызуна, приговорен за самонадеянность. Непостижимо.

И все-таки мы расстались. Превозмогая боль, мы остались друзьями и пошли каждый своим путем. Правда, нас разделяло всего десять домов и мы ежедневно разговаривали по телефону, но прежние отношения кончились. И вот тогда, только тогда я стал понимать, как же на самом деле я любил Конни. Сполохи отчаянья и страсти разрывали Прустову мглу душевной муки, в которой я жил. Я вспоминал заветные мгновенья нашего счастья, наши бесподобные любовные игры и плакал в одиночестве посреди огромной пустой квартиры. Я попробовал было встречаться с женщинами, но оставался безнадежно холоден. Юные поклонницы и секретарши, потянувшиеся караваном через мою спальню, только опустошали; это было еще хуже, чем одинокий вечер с хорошей книгой. Мир утратил свежесть и перспективу — так, мерзкое сумрачное местечко. Пока однажды я не узнал потрясающую новость: мать Конни ушла от мужа, и они разводятся. Ну надо же, думал я, а сердце мое впервые за долгое время билось быстрее обычного, мои старики воюют, как Монтекки и Капулетти, и прожили вместе всю жизнь. Предки Конни потягивают мартини и нежно обнимаются, а потом бац — подают на развод.

План был ясен. Полинезийская пещера. Теперь на нашем пути ничего не стоит. Конечно, немного неловко, что у меня был роман с Конни, но это уже не такое препятствие, как раньше. Теперь мы просто два свободных существа. Мои чувства к Эмили Чейзен, все это время, конечно, тлевшие под пеплом, вспыхнули снова. Пускай жестокая судьба и разлучила меня с Конни, ничто не помешает мне завоевать ее маму.

В мощном порыве тайной гордыни я позвонил Эмили и условился о встрече. Через три дня мы сидели в людном сумраке моего любимого полинезийского ресторана, и, расслабившись после третьей бахни, она излила душу, рассказав мне все о гибели своего брака. Когда она заговорила о том, что хочет начать новую жизнь, менее замкнутую и более творческую, я поцеловал ее. Да, она отстранилась, но не вскрикнула. Она растерялась, но я признался в своих чувствах к ней и поцеловал опять. Она была смущена — но не вскочила в ярости из-за стола. После третьего поцелуя я понял, что ей не устоять. Она тоже. Я привез ее к себе домой, и мы любили друг друга. Наутро, когда чары пунша рассеялись, она по-прежнему казалась мне потрясающей, и мы снова любили друг друга.

— Я хочу, чтоб ты стала моей женой, — сказал я, глядя на нее затуманенными обожанием глазами.

— Серьезно?

— Да, — ответил я. — На меньшее я не согласен.

Мы целовались, завтракали и, смеясь, строили планы. В тот же день я рассказал обо всем Конни. Я готовился к взрыву, но его не произошло. Я предвкушал разные реакции — от презрительной насмешки до нескрываемого бешенства, — но Конни восприняла известие с восхитительным спокойствием. Она сама в то время вела бурную жизнь, встречалась с несколькими интересными мужчинами и очень беспокоилась о будущем своей матери после развода. И вот внезапно появляется юный рыцарь и берет на себя все заботы о прекрасной

даме. Рыцарь, у которого по-прежнему превосходные дружеские отношения с Конни. Это был добрый для всех поворот судьбы. С Конни снимается вина за мои адовы муки. Эмили будет счастлива. Я буду счастлив. Да, Конни восприняла известие со свойственными ей легкостью и юмором. Мои же родители проследовали прямо к окну (они жили на шестом этаже), но никак не могли решить, кому выбрасываться первым.

— Это неслыханно, — рыдала мама, с зубовным скрежетом раздирая на себе одежды.

— Он ненормальный. Ты идиот. Ты ненормальный, — повторял бледный потрясенный отец.

— Пятьдесят пять и шикса,⁶³ — стонала тетя Роза, хватая нож для бумаг и поднося его к глазам.

— Я люблю ее, — протестовал я.

— Она тебя в два раза старше! — орал дядя Луи.

— Ну и что?

— То, что этому не бывать! — ревел отец и заклинал меня Торой.

— Он женится на маме своей подружки, — хрипела тетя Тилли, оседая на пол без чувств.

— Может, они муниты?⁶⁴ — предполагал дядя Луи. — Может, они его загипнотизировали?

— Идиот! Дебил! — шептал отец.

К тете Тилли вернулись чувства, она уставилась на меня, вспомнила, что случилось, и отключилась снова. Преклонив колени в углу дальней комнаты, тетя Роза на все лады бормотала «Шма Исроэль».

— Господь покарает тебя, Харольд, — вскричал отец. — Господь прилепит твой язык к небу твоему, и погибнут все овцы твои, и все волы твои, и десятая часть от плодов твоих, и...

Но я женился на Эмили, и никто не покончил с собой. Присутствовали трое ее детей и дюжина знакомых. Свадьбу устроили у Конни, шампанское лилось рекой. Мои опоздали: надо было сначала исполнить давнее обещание — принести в жертву агнца.

Танцевали, веселились, вечер удался на славу. В какой-то момент я оказался в спальне наедине с Конни. Мы подтрунивали друг над дружкой и вспоминали наш роман, все хорошее и плохое и каким желанным я был для нее когда-то.

— Это было упоительно! — воскликнула она.

— Что поделаешь, с дочкой сорвалось, пришлось отыгаться на маме. А...

Но в следующее мгновение я почувствовал во рту язычок Конни.

— Какого черта? — спросил я, отстраняясь. — Напилась?

— Знаешь, ты меня так заводишь!.. — И она повалила меня на кровать.

— Что на тебя нашло? Ты что, нимфоманка? — сказал я, поднимаясь на ноги, но, конечно, возбужденный этим внезапным натиском.

— Я должна переспать с тобой. Хорошо, не сейчас. Но как можно скорее, — сказала она.

— Со мной? С Харольдом Козном? С тем типом, который жил с тобой? И любил тебя? Которому было запрещено приближаться к тебе ближе чем на двадцать три сантиметра, потому что он стал напоминать тебе Дэнни? Это со мной ты хочешь переспать? С олицетворением твоего братишки?

— Теперь же совершенно другой расклад! — сказала Конни, тесно прижимаясь ко мне. — Женитьба на маме сделала тебя моим папочкой.

Она снова поцеловала меня и, перед тем как вернуться к гостям, добавила:

— Не волнуйся, папуля. У нас еще будет масса случаев.

⁶³ Шикса — нееврейка (*идиш*).

⁶⁴ Муниты — члены секты, практикующей нетрадиционные методы психического воздействия.

Я опустился на кровать и уставился в окно. Я думал о своих стариках и о том, не пора ли кончать с театром и вернуться в раввинское училище. Через приоткрытую дверь мне были видны Конни и Эмили: обе смеялись, болтая с гостями. А на кровати в спальне сидела жалкая поникшая фигурка, и все, что она могла пробормотать себе под нос, было давнее выражение моего дедушки, который говорил: «Ой, вей».

Записки старого вора



Предлагаем вниманию читателей фрагменты из воспоминаний Вирджила Айвса, которые вскоре будут опубликованы полностью. В настоящее время автор отбывает первый из четырех сроков по девяносто девять лет каждый, на которые он осужден за различные тяжкие преступления. После освобождения 2-й Айвс собирается посвятить себя педагогике.

Конечно, я воровал. А как же? Там, где я вырос, чтобы выжить, приходится воровать. Хочешь поесть — воруй. Потом воруй на чаевые. Большинство тырило на пятнадцать процентов. Я — на двадцать, потому меня официанты и любили. Возвращаешься ночью с дела — свистнешь пижаму и спишь в ней. Если жарко — воровал трусики и маечку. Так все жили. Скажете, меня плохо воспитали? Не знаю. Папаша вечно был в бегах, я до двадцати двух лет ни разу и не видал его без грима. Всю жизнь думал, он хромой бородастый коротышка в темных очках, а оказался высоким блондином, немного похож на Линдберга.⁶⁵ Он был профессиональным грабителем банков, но в шестьдесят пять тогда отправляли на пенсию, пришлось завязать. На старости лет развлекался почтовыми лотереями, но потом марки резко подорожали, и он разорился дотла.

Мать, само собой, тоже была в розыске. Ну, конечно, в те времена не то что сейчас — женщинам приходилось бороться за свои права и все такое. Тогда если девушка шла в криминал, она могла только стать шантажисткой либо, в крайнем случае, поджигательницей. В Чикаго женщин брали перегонять краденые тачки, но это только в двадцать шестом, когда шоферы бастовали. Страшная была забастовка. Два месяца. Если у кого выгорало дело, приходилось тащить бабки пешком или брать такси.

У меня было двое братьев и сестренка, Дженни. Она вышла замуж — не по любви, по расчету. За тугую мошну. Вик, мой старший брат, спутался с шайкой плагиаторов. Когда федералы окружили дом, он как раз ставил свой автограф на экземпляре «Бесплодной земли». Взяли с поличным, схлопотал десять лет. С ним был один пижончик, тот подписал «Cantos» Паунда. Но у него папаша оказался важной шишкой, так его выпустили на поруки с испытательным сроком. Вот вам и закон. А Чарли — он меня младше, — тот был наперсточником, потом ростовщиком, скупал краденое. Долго искал себя. В конце концов сел за тунеядство. Бил баклуши семь лет, пока не понял, что денег с них не выколотишь. Тут его как раз и взяли. А баклуши пустили с молотка.

Первое, что я в своей жизни украл, была буханка хлеба. Я тогда работал у Рифкина в пекарне, выковыривал повидло из черствых булок и перекладывал в свежие. Хитрое дело, тут сноровка нужна. Дали мне скальпель и резиновую трубку. Чуть рука дрогнет — повидло на пол, а папаша Рифкин таскает тебя за волосы. И вот как-то зашел Арнольд Ротштейн — он для нас всех тогда был богом. И говорит, что, мол, каравайчика бы отведать не прочь, но платить не собирается. Намекнул, что смысленный паренек может через это попасть в

⁶⁵ Чарльз Линдберг (1902–1974) — американский летчик, совершивший первый одиночный перелет через Атлантику (Нью-Йорк — Париж) в 1927 г.

настоящее дело. Я все понял и стал каждый день прихватывать с работы по ломтю хлеба, так что недели через три собралась буханка. Взял ее и потопал в контору к Ротштейну. И вдруг чего-то меня стало грызть. Рифкина-то я ненавидел, но вспомнил, как его жена, когда узнала, что мой дядька при смерти, разрешила отнести домой два кунжутных семечка с кренделя. Ну и не пошел я к Ротштейну, хотел было вернуть хлеб на место, но меня застучали, когда я пытался понять, от какой буханки какой был ломоть. Пикнуть не успел, как оказался в исправилровке.

Там трудно пришлось. Пять раз убегал. Однажды, помню, думал смыться в прачечном фургоне. Охранник что-то учуял, ткнул в меня палкой и спрашивает, какого черта я делаю в корзине с бельем. Я гляжу ему прямо в глаза, честно так, и говорю: «А я портки, дяденька». Ну, судя по всему, он не очень-то поверил. Принялся ходить туда-сюда и все смотрел на меня. Ясное дело, у меня душа ушла в пятки. «Портки я, — говорю. — От спецовки. Синенькие». Не успел договорить, как меня скрутили, наручники, колодки и снова бросили в крытую.

Там я научился всему. Как обчищать карманы, как бомбить сейфы, как резать стекло — все азы ремесла. Например, я узнал (а это даже не всякий профессионал знает), что при перестрелке фараоны имеют право сделать два первых выстрела. А потом уже можно палить в ответ. Или, допустим, если легавый говорит «Дом окружен, выходите с поднятыми руками», то не надо орать как резаный. Надо ответить: «Вы знаете, мне бы не хотелось» либо «Давайте не сейчас, может, попозже». Вот так это должно делаться, хотя теперь... ладно, что об этом толковать?

Черт побери, в скором времени я стал таким вором, как дай вам бог. Вот все говорят — Рафлс, Рафлс. Но у Рафлса была своя манера, а у меня своя. Как-то я обедал с его сынишкой. Славный мальчуган. Пошли посидеть к старине Линди. Парнишка спер перечницу. Я стянул приборы и салфетки. Тогда он стырил бутылку кетчупа. Я увел его кепарик. Он свистнул мой зонт и булавку для галстука. Уходя, мы похитили официанта. Солидный улов. Сам-то папаша Рафлс был медвежатником. Я этих дел не люблю, с детства боюсь медведей. Напялит на себя старую медвежью шкуру — и вперед. Пока его не загрызли двое легавых из Скотленд-Ярда. А хотя бы о Галантном Грабиле вы слышали? Этот залезал в квартиру, выносил все подчистую, и если дома была хозяйка — обязательно целовал ей ручку на прощанье. Обидно, на какой чепухе он попался. Связал двух старушек, стал скакать перед ними и петь «А ну-ка, ну-ка, поцелуй меня, малышка», споткнулся о пуфик и сломал себе шейку бедра.

Об этих гигантах писали все газеты, зато я умел так украсть каперсы, что сыщики только разводили руками. Или, допустим, мог залезть в дом, рвануть сейф, взять шесть кусков — а хозяева мирно спали в той же комнате. Правда, когда шарахнуло, муж проснулся, но я пообещал ему, что вся выручка пойдет приюту для мальчиков, и он снова уснул. Помню еще, я там оставил отпечатки Франклина Рузвельта, он как раз был президентом. Неглупо, а? А другой раз на большом дипломатическом коктейле увел бриллиантовое кольцо, пока пожимал руку хозяйке. Понадобился мощный пылесос, я взял старый «Гувер», так он засосал и сережки заодно. А потом, когда вытряхивал мешок, там еще оказалась вставная челюсть немецкого посла.

Но лучшее мое дело, конечно, Британский музей. В отделе редких камушков сигнализация идет по полу, и если только чуть-чуть наступишь — начнется трезвон. Но я же не мальчик, я спустился через стеклянную крышу на веревке и пола вообще не касался. Все шло как по маслу, я уже парил над витриной со знаменитыми китриджскими бриллиантами, уже достал стеклорез — и тут через дырку в крыше влетела ласточка и села на пол. Все заревело, примчались восемь броневиков. Мне дали десять лет. Ласточке двадцать — считай, пожизненно. Но через полгода ее выпустили с испытательным сроком. А через год снова засадили в Форт-Ворс: не удержалась пташка, заклевала ребе Мориса Кацнельсона до потери сознания.

Что бы я посоветовал простым домовладельцам, которые хотят уберечься от

непрощенных гостей? Ну, во-первых, уходя, не надо тушить свет. Оставьте хотя бы лампочку ватт в шестьдесят, иначе домушник в потемках разворотит вам весь дом. Во-вторых, неплохо завести собаку, хотя это не панацея. Если я шел грабить дом, где была собака, то первым делом бросал ей «Педигри», смешанный со снотворным, и все дела. Бывало, веронал не сработает — ну, тогда пропускал через мясорубку в равных частях мясо и какой-нибудь роман Драйзера.

Допустим, вы собрались за город и некому последить за домом. Вырежьте из картона силуэт и установите в окне. Не важно, свой или чей угодно. Один парень из Бронкса вырезал силуэт Монтгомери Клифта⁶⁶ и улетел на выходные в Лас-Вегас. И надо же было случиться — сам Монтгомери Клифт шел по Бронксу и увидел себя в окне. Он заволновался, попробовал завязать разговор, но до вечера так и не дождался ответа, а потом вернулся в Калифорнию и рассказывал знакомым, какие в Нью-Йорке снобы.

Если вы все-таки застали в собственном доме незнакомца, не паникуйте. Помните: он испуган не меньше вашего. Что делать? Хороший способ — ограбить его самого. Постарайтесь перехватить инициативу и стащите у вора его часы и бумажник. Может, тогда он ляжет в вашу кровать и вы сумеете улизнуть. Один раз я сам попался на этот трюк и потом прожил шесть лет с чужой женой и тремя детьми. Хорошо, что к нам наконец залез другой вор, — я ограбил его, и он оказался на моем месте. Шесть лет, которые я прожил с той семьей, были очень счастливыми, и я часто с теплотой вспоминаю это время — хотя немало добрых слов могу сказать также о работе с контрабандистами.

⁶⁶ *Монтгомери Клифт* — знаменитый голливудский киноактер.